№ 5-6 (29-30)
май-
июнь
2011

Ars istius orisi solum necesse est

литературно-аналитический

Листок. АБГ

Периодическое издание союза "Ассоциация литераторов - АБГ" и лито "Молот О.К."
(Тбилиси, Грузия) http://abg-molotok.ge

Специальный выпуск – приложение к журналу "Русский клуб", – приуроченный к V Международному грузинскому поэтическому фестивалю "Сны о Грузии" (5-16 июня 2011г.).

Прошлый век

Тбилиси стал городом поэтов. В кафе "Интернационал" его так и объявили городом поэтов. Более того: утверждали, что поэзия только в Тбилиси... Мир рушился - и только Тбилиси был единственным, который встречал это "крушение" поэтическим пением.

Григол РОБАКИДЗЕ. "Фалестра".

Бор. КЛОЧКОВСКИЙ
(Василий КАТАНЯН*)

ИСТОРИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТИФЛИСА В ПАРИЖ

**Василий Абгарович КАТАНЯН (1902-1980), поэт, сценарист, драматург, мемуарист, заметный участник литературной жизни Тифлиса 1917 – 1927 гг. Автор двух сборников стихов, вышедших в Тифлисе: "Синим вечером" (совместно с В.Кара-Мурзой, 1918) и "Убийство на романической почве" (1919), участвовал в создании знаменитого сборника "Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок" (1919), член "Цеха поэтов" и "Союза русских писателей Грузии", участвовал в издании газеты "Искусство", с 1921 года работал в Кавроста, а в 1923-1927 гг. был заместителем директора издательства "Заккнига". В дальнейшем - биограф В.Маяковского, автор ряда исследований жизни и творчества поэта.*

Господа! Тифлис стал превращаться в Париж!

Из речи Паоло ЯШВИЛИ

Действительно, Тифлис был чудный городок. И городская дума, и трамвай, и общество "Копейка", и вообще как будто хорошо было.

Но вдруг Тифлис стал понемногу превращаться в Париж. Никто об этом не знал и вдруг, как гвоздь в голову, получайте – вы живете в Париже.

Теперь никто из обывателей не скажет: "Сегодня я гулял по солнцевейному проспекту Руставели."

Нет!

Он, немного гордясь и слегка заломив шляпу на затылок, зевнув, произнесет:

– Aujourd'hui je me promenais dans les champs Elises.

Хорошо это или плохо, не знаю. Мне хочется только, как старожилу бывшего Тифлиса, рассказать его необыкновенную историю. Виновниками этого печального события являются люди, которые поодиночке приезжали в Тифлис и понемногу заполняли все свободные помещения и квартиры, называя себя людьми от Искусства. Так, по крайней мере, думает Паоло Яшвили, первый заметивший странную метаморфозу нашего городка.

Кирилл ЗДАНЕВИЧ. Синдикат футуристов. 1917 - 1918.

Группа "Синдикат футуристов" сложилась в Тифлисе в 1917 году. В нее вошли поэты Алексей Крученых, Илья Зданевич, Николай Чернявский, Кара-Дарвиш (Акоп Генджян) и художники Кирилл Зданевич, Ладо Гудиашвили, Сигизмунд Валишевский. С присоединением к группе в 1918 году поэта, художника и теоретика Игоря Терентьева, она принимает название "Компания 41°" и войдет в историю, как самое левое объединение досоветского русского авангарда, во многом предвосхитив поиски европейского авангарда.

I

В один прекрасный день обыватель прочел в тифлисских газетах под рубрикой телеграмм от собственного корреспондента следующие строки:

"…Воронеж. Равнодушный поезд куда-то везет знаменитого Городецкого".

Хорошо.

На следующий день: "Ростов н/Д. Проехал Городецкий. Не знаю куда".

Еще через день. "Баку. Здесь Городецкий. Едет дальше. Тифлис – Ван".

Обыватель взволновался. – "Неужели в Тифлис?! Городецкий. Сергей… Господи!". И побежал на вокзал.

Приехал.

– Скажите, этот тот самый Городецкий?

– Да.

– Высокий?

– Немного такой?..

– Да, немного…

Обыватель пошел домой.

А Городецкий полетел в редакцию.

– У вас Тифлис?

– Да.

– Литературный отдел есть?

– Какой литературный отдел? В городской управе?

– В газете.

– Нет.

– Хотите?

– Хотим.

Начали.

Городецкий обратился к публике:

– Пушкина знаете?

– Знаем.

– Некрасова?

– Немножко.

– А Ивана Федорычева?

– Не знаем.

– Хотите напишу?

– Напишите.

Написал.

Полгазеты исписал. Прочли и сказали друг другу: "Да, знаете, Федорычев. Иван".

Городецкий писал. Его читали. О новых поэтах писал. О новых поэтах читали.

Об английских офицерах писал. Об английских офицерах читали. Вообще читали.

Так Городецкий появился и зажил в Тифлисе.

II

Через полгода после приезда Сергея Городецкого в Тифлис приехал новый поэт.

В газетах появилось следующее сообщение: Торжественное открытие Студии Поэтов. Вступительное слово скажет петроградский поэт Юрий Деген… и т.д.

Публика приходит: помещение маленькое, расписанное, пахнет поэзией и пончиками.

Стоит Юрий Деген и говорит слово вступительное. Послушали.

Потом кто-то стихи читал.

Тоже послушали. Потом спросили Дегена:

– Почему на стене женщина с одной ногой?

– Не понимаете?

– Нет.

– Правда, не понимаете?

– Ей Богу, не понимаю.

– А вам очень нужно знать?

– Нет… Собственно если…

– Господа, а вечер-то кончился! – неожиданно заявил Деген.

Шли домой. Деген хвастался: "То ли еще будет. Знаете, как этот подвал называется? Фантастический кабачок. Сейчас какой-то дурак ко мне пристал, почему женщина с одной ногой? Потому – фантастический.

И цены у нас будут фантастические и все".

Кабачок торговал. Приходили, читали стихи, спорили, читали доклады, ругались и уходили. Одним словом, жили литературной жизнью.

Артисты боялись, что публика перестанет ходить в театр, а пойдет в кабачок. Но их опасения оказались неосновательными: публика – дура – ходила и туда и сюда, а Деген ходил на седьмом небе: наконец, истинное искусство начинает прививаться в Тифлисе.

III

Приехали в Тифлис и футуристы.

Вождь московских футуристов А.Крученых и поэт И.Зданевич.

Объявили доклад "О женской красоте". Вождь Москвы! Женская красота! Страшно пикантно. Пошли.

"Женская красота, – сказал Крученых, – это совсем не то, что думали раньше.

Красоту, а тем паче женскую, никогда не нужно искать у женщины. Только во времена покойной дуры Венеры Милосской могли предполагать такой абсурд. Ищите женскую красоту, где хотите, только не у женщины.

В заключение могу прочесть несколько строк из великого поэта, явно указавшего в двух словах, где и как нужно искать женскую красоту:

До-о-о-о-лго
Хихикала чья-то голова,
Высовываясь из толпы,
как старая редиска".

"Ищите", – еще раз вскрикнул лектор и исчез с кафедры.

Наиболее нервная часть публики полетела по горячим следам искать женскую красоту, повторяя в уме бессмертные слова поэта.

А остальная часть приготовилась слушать второго оратора, Илью Зданевича. Последний заявил, что он прочитает свою гениальную драму из албанской жизни на албанском языке под названием "Васька, Сруль Албанскай". Публика попросила Зданевича не читать эту драму, потому что никто из присутствующих не понимает по-албански. Но самоотверженный лектор, не жалея сил и времени, прочел до конца свое произведение и ушел, пообещав прочесть в следующий раз новую драму.

После ухода лектора публика решила на свои средства снарядить экспедицию и отправить ее на поиск женской красоты. Предводительствование этой экспедиции было решено поручить московскому вождю А.Крученых. Отправили делегацию. Крученых потребовал, во-первых, гарантировать ему 100 лекций в продолжение 3 месяцев и, во-вторых, половину того, что будет найдено.

Кроме того, он заявил, что ручаться за успех не может, т.к. Тифлиса совсем не знает.

После 2-часового совещания собрание вынесло следующую резолюцию: "Обсудив всесторонне ответ Крученых и найдя его неприемлемым, "Общество искания женской красоты по методу Крученых и К°" постановило: пока за отсутствием мало-мальски приличного вождя, организацию экспедиции отложить, но вменить в обязанность всем членам общества искать (если позволяют служба, семья и прочие обстоятельства) женскую красоту по вышеуказанному методу и по мере нахождения ее представлять в главный комитет Обисжекр'а".

Так плодотворно закончилось первое публичное выступление футуристов в Тифлисе.

"ОбисжекрЪ" существует и до сих пор.

Газета "ИСКУССТВО". Тифлис.
27. 10. 1919

Вано ХОДЖАБЕКЯН. Букинист.

К СТАТЬЕ В.КАТАНЯНА “ПРЕВРАЩЕНИЕ ТИФЛИСА В ПАРИЖ”

Да, Тифлис отворачивается от Востока и глядит в сторону бледнеющей Европы. …Мы любим ездить в Европу и удивляться в музеях мухе, пропуская на родине слона.

Турецкие кофейни наполняются любителями кальяна… А там, за кофейнями в таинственных притонах, люди, живущие неземной жизнью, вдыхают наркозы гашиша. И много, много неизвестного таится там для посвященных.

Георгий ЕВАНГУЛОВ, из "Тифлисских очерков". Газета "Республика". 1917г.

До войны и революции все три центра Закавказья – Тифлис, Баку и Батум, с точки зрения искусства и литературы, были типичными провинциальными городами. Война, бросившая в Закавказье вместе с армиями не мало литераторов и художников, вслед за нею революция, задержавшая эти силы за рубежом, и, наконец, республики, возникшие в Закавказье, дали мощный толчок художественной и литературной жизни, породили самые разнообразные течения, создали новые издания, национальные искусства и театры. (. . .)

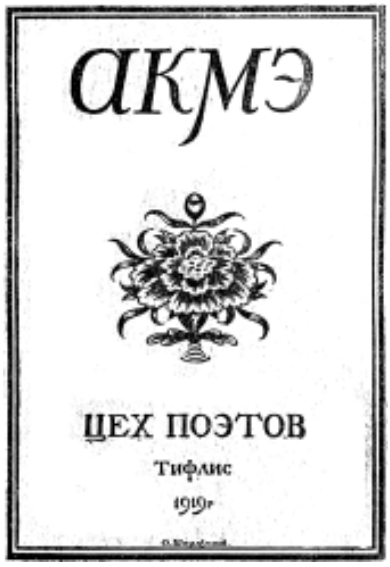
Когда летом 1917 года я приехал делегатом из Персии в Тифлис и остался работать при Совете Солд. и Раб. Деп. в военно-санитарной комиссии, первой потребностью момента было дать выход той песне, которая неслась из армии, впервые почувствовавшей свободу. Я стал издавать журнал "Свободная Песня", но за отсутствием средств выпустил только один номер. Но этот номер дал поэта-солдата, которого не должна забыть русская литература, Ивана Федорычева. Никитинского пошиба, замечательно искренний и простой, он вскоре выпустил книжку с моим предисловием "Песни скорби". (. . .) …Я стал выпускать журнал "Ars" с обширной программой, включавшей в себя, кроме русской, армянской, грузинской и персидской беллетристики (в переводах), критику, археологию и статьи по искусству.

При журнале"Ars" был организован артистериум, в котором шли занятия по технике стиха, археологии, устраивались выставки и вечера. Параллельно с этим шла работа по собиранию детских рисунков. Были две выставки и выпущен альманах детских рисунков, стихов и рассказов "Райский орленок".

Чтобы покончить с моими тифлисскими изданиями, я должен упомянуть о сатирическом журнале "Нарт", издававшемся Петром Меркуровым (. . .) В это же время я выпустил книжку стихов "Ангел Армении".

Тогда же был организован мною тифлисский "Цех поэтов", выдвинувший вскоре ряд поэтов:Деген, Семейко, Пояркова, Данцигер, Зота, Декапрелевич, Антоновская, Майя, Капранов, Кулебякин, Крученых, Вечорка, Баммель. Это все уже не дилетанты. На втором году работы мы выпустили сборник "АКМЭ", в обложке Шарлеманя. Центр цеха работал по принципам акмеизма, несколько проверенным и расширенным. Но вскоре наметилось левое крыло, которое и откололось в составе: Дегена, Семейко, Крученых и, соединившись с Ильей Зданевичем, развило энергичную деятельность, стало издавать журнал "Куранты", выпускать книги, из которых упомяну "Этих глаз" Дегена, десятки рукописных книг-рисунков Крученых, "Магнолии" Вечорки, "Барон в заплатанных штанах" Евангулова.

Рядом развивалось большое и серьезное литературно-издательское дело, во главе которого стал Сергей Рафалович. Бакинское книгоиздательство "Книжный посредник" предоставило ему возможность издавать в Тифлисе целый год журнал "Орион" и газету "Понедельник". (. . .)



Осип ШАРЛЕМАНЬ. Обложка.

Теперь необходимо сказать о развитии грузинской национальной литературы и живописи. Группа "Голубые Роги" окрепла и получила признание только теперь. Она имеет свой журнал на грузинском языке, помещение и содержание от правительства. Рядом с ней работает более правый по литературному приему поэт Гришашвили. Во время моего отъезда поэт Канчели стал во главе большого издательского дела. Выходит много журналов, юмористических, профессиональных на грузинском языке. Но еще сильнее, чем литература, развивается грузинская живопись и театр. Художники Гудиашвили и Какабадзе на почве грузинской старины и быта, по стилю близкие к кубизму, создали, действительно, новое и вполне самобытное искусство. Две новых оперы, одна бытовая, другая героическая, выходят за пределы местного искусства и заслуживают интернационального внимания.

Вообще, художественная жизнь в Грузии процветает. Национальные праздники, украшение зданий, денежные знаки (работы Тер-Микаеляна) – все носит отпечаток прекрасной природы этой страны.

Из русских художников нужно упомянуть Кирилла Зданевича и особенно Судейкина, который оставил навсегда по себе память в Тифлисе поразительной росписью подвала поэтов "Химерион".

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

"Искусство и литература в Закавказье в 1917–1920 гг.". Журнал "Книга и революция". № 2. 1920 г.

К СТАТЬЕ В.КАТАНЯНА “ПРЕВРАЩЕНИЕ ТИФЛИСА В ПАРИЖ”

Кирилл ЗДАНЕВИЧ. Композиция.

10 ноября 1917 года в газете "Кавказское слово" было помещено объявление о том, что в воскресенье 12 ноября в доме №12 по Головинскому проспекту состоится открытие Студии Поэтов, основанной Юрием Дегеном и Сандро Корона. Это было первое печатное упоминание о "Фантастическом кабачке" – литературном подвале, открытие которого, как писал тремя годами позднее владикавказский журнал "Творчество", "было самым крупным явлением в истории тифлисской литературной жизни". "Фантастические кабачок" был создан в традиции петербургских литературно-артистических подвалов "Бродячая собака" и "Привал комедиантов".

Татьяна НИКОЛЬСКАЯ
"Фантастический кабачок"."Литературная Грузия". № 11. 1980 г.

Безусловно, работа участников "Фантастического Кабачка" сыграет роль в развитии новейшего искусства вообще, а Тифлиса и Грузии в частности. Центр искусства переместился. Группа лучших грузинских поэтов "Голубые роги" испытала на себе неотразимое влияние работы "Фантастического Кабачка", о чем и заявила публично устами Тициана Табидзе.

Алексей КРУЧЕНЫХ
“Куранты”. №2. 1919г .

Молодой поэт Катанян, очень талантливый и к футуризму отношения не имеющий, на двух заседаниях "Цеха поэтов" прочел заумные стихи, за которые удостоился одобрения мэтров футуризма Ильи Зданевича и Терентьева. После прочтения второго стихотворения Катанян вдруг заявил, что он открыл секрет заумных стихов и этот секрет отдает на общее пользование: …надо взять любой текст, написанный на обычном языке, читать его справа налево, расчленяя на слоги. Так, второе его стихотворение не что иное, как прочитанное в обратном порядке объявление математической секции кружка московских студентов о занятиях в этой секции.

Анекдот из области литературы // Наша жизнь. 1920. 3 января.

Вечер заумной поэзии приятно разочаровал… Он оказался интереснее и значительнее по содержанию – интересней и значительней, чем многие предполагали.

И если бы то горение, то искание, которое вложил Илья Зданевич в свой интересный доклад и в свои реплики, коснулось бы поэтов от футуризма, то как знать? – мы, возможно, присутствовали бы тогда при расцвете новой страницы в искусстве.

Впечатление от этого вечера я не могу назвать иначе, как острым и осмысленным.

В остром полемическом споре скрещивались ученые исследования Робакидзе, энергичное отрицание футуризма поэтом Яшвили, умелая защита доклада Харазовым и пламенная защита футуризма в последнем слове Зданевичем (Ильей – **ред.**), метко поставившим футуристам в заслугу, что они явились первыми, кто попал в мировой суд "в борьбе за эстетику".

Яков КАМСКИЙ
(известный в то время в Тифлисе театральный и общественный деятель – ред.) "Республика" №156. 1918.

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

NOTTURNO 1-mo

Кадильница безумия, луна,
Опять зеленым ладаном полна.
И дым, струясь с ея проклятых губ,
Опутывает мир, как саван труп.
Бушует гений в пене сумасбродств,
Прекрасное родится из уродств.
Душа старухи, слипшейся в комок,
Средь ангелов раскрылась, как цветок.
В подвале алкоголь сквозь брань и бред
Провозглашает рыцарства обет.
Зовя гостей на стоптанный порог,
Шлет звездам девушка бессмертный вздох.
И слышит лава недр уснувших сдвиг,
Убийца вспоминает детства миг.
И льнут к корням прибрежного куста
Утопленниц распухшие уста.
Распластанные камни мостовой
Благославляют страшный жребий свой.
Самоубийства яростью горда,
Несется обнаженная звезда.

И тщетно в бездне райских областей
Палитры ищет Врубель и кистей.
Обходит смерть, раскоса и хрома,
От страха побелевшие дома.
И пальцами дрожащими лучист,
К роялю подбегает пианист.
И Скрябина таинственный прелюд
Терзает тихой комнаты уют.
И наконец – о, миг свершенных грез! –
Из глаз красавицы встает хаос.

БЕССМЕРТИЕ

Налегла и дышать не дает
Эта злобная зимняя ночь.
Мне ее ни с земли, ни с высот
Не согнать, не стащить, не сволочь.
Есть для глаз пара медных грошей.
Лихо пляшет по телу озноб.
Мчится в крыльях летучих мышей
Мимо окон измерзнувший гроб.

Золотой чешуею звеня
И шипя воздыхающим ртом,
Гаснет в мокрой печи головня.
Холод барином входит в мой дом.

Не стянуть отсыревших сапог
И пальтишком костей не согреть,
В потемневшей фольге плачет бог,
Что не может со мной умереть.

“ЖИРАП В АСИЛФИТ ЕИНЕЩАРВЕРП” АНЯНАТАК.В ЕЬТАТС К

Илья ЗДАНЕВИЧ. Зохна. Иллюстрация к дра “асЁл напракАт”

Илья ЗДАНЕВИЧ

Отрывок из заумной дра ***"янко круль албанскай"****.*

ЯНКО (испуганный)

ПапАся мамАся
бАнька какУся ыизийка
будЮтитька вАська мамУдя
уЮля авАцка зИбитытЮшка
аблЮся сякавАка мукугигУня
бузюбузабзИтитька дюдибЮдя сУря
мИкУйка авалЯся тискудюня
засюсюфАтю виЯдА уЮня
бАнька какУка мУйка

(в прологе к дра объяснено, что дра написана на албанском, идущем от евонного.)

Из заумной драмы "асЁл напракАт"

Хазяин
грАжани
ильЯ зданЕвич прасИф дАть падбрОсил
нОвае дЕйства аслА напракАт
дЕйства и письмО сапУтнае нипанЯтны
признАть аслА за чилавЕка и наабарОт
маглА зОхна нивЕдама кАк
но мАла у кавО нЫнчи мУжыства
швырЯть
за искУства нипанЯтнае – мОжыт тут –
штОнибуть данespecтрастА
аттавО мы дЕйства и даЕм и закАз
ваздиржАца ат ниадабрЕний –
можЫт тут –
штОнибуть данespастрастА.
дЕи
зОхна
жынИх А
жынИх Б
асЕл
дЕйства пасвичАеца эзъгЭ мЕльникавай

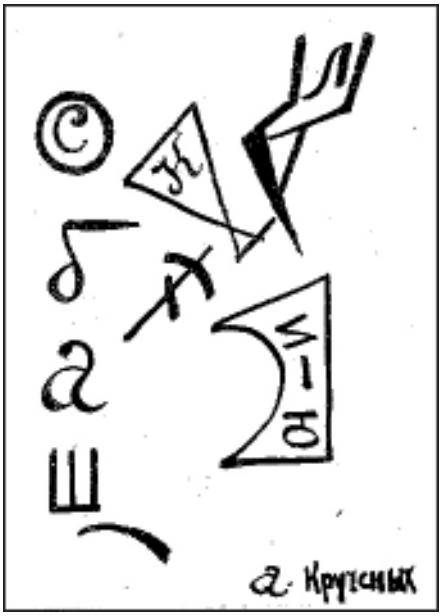
Алексей КРУЧЕНЫХ

ГОНИ!!!
ГОЛЬЧЕ!!!

Надо прыгом урвать
У немахи судьбы
Ее замотанные в тряпье четыре слова
Проси потом до шЕпеля хрипоты –
Через 100 лет прокаркает
ЧОртова!

* * *

Слова мои – в охапку – многи –
там перевязано пять друзей и купец!
так и не творил еще ни государь,
ни Гоголь I
среди акций пушАтых на железной
дороге,
Не одинок я не лжец, –
КРЮЧЕК кРУЧЕННЫХ МОЛОДЕЦ!…



Юрий ДЕГЕН

М.КУЗМИНУ

не легко трехпалубное судно.
с якорей ему рвануться трудно.
стоит – тяжелый битюг –
сразу хочет на север и на юг.

заскрипели канаты,
песенку запели,
двинулось в середине апреля,

коричневый пускает дым,
гнется море под ним.

путешествовать к чудесным странам
мне на пароходе странном.
прощай, далеких долинок пух! –
старшим штурманом стал пастух.

У ВИТРИНЫ (сонет)

Дрянной сапог. Гравюрка Хокусая.
Никелированный блестит сервиз.
Пронзив витрину дивную, косая
Полоска солнца жжет тебя, Парис.

Ты, обыватель, здесь остановись,
На вещи взор внимательный бросая,
Твоя страна – уже почти босая –
Неукоснительно стремится вниз.

Какой же дьявол эти шутки строит?
О, как понять его в негромком ветре
Тяжелых дум голодных образин?

Комиссионерств безумное поверье!
По серым улицам на каждом метре!
Надежд последних срочный магазин.

Василий КАТАНЯН

Вере Артуровне СУДЕЙКИНОЙ

И крепкий чай, и красное вино,
И вешний сад, и черный облик смерти
Я знаю, испытать мне суждено
И счастье вскрыть в сиреневом
конверте.
Мне все равно, откуда ветер дует –
С армянского холма иль с северной
Невы,
Но почему мне сердце так волнует
Девичье поле девичьей Москвы.

Из цикла "УБИЙСТВО НА РОМАНИЧЕСКОЙ ПОЧВЕ"

Ее глаза, как цифра восемь,
Колодцы благостных кислот,
А в волосах проснулась осень
Для нежных и слащавых од.
Какой-то профиль бомбу бросил
И скрылся у нее в глазах.
А я…когда б меня ни спросят,
Предвидел свой любовный крах.

Сигизмунд ВАЛИШЕВСКИЙ.
Ея глаза, как цыфра восемь.

Мтквардалеули*

Арсений Тарковский

* * *

Ты, что бабочкой черной и белой
Не по-нашему дико и смело
И в мое залетела жилье,
Не колдуй надо мною, не делай
Горше горькое сердце мое.
Чернота, окрыленная светом,
Та же черная верность обетом
И платок, ниспадающий с плеч.
А еще в трепетании этом
Тот же яд и грузинская речь.

ДОЖДЬ В ТБИЛИСИ

Мне твой город нерусский
Все еще незнаком -
Клен под мелким дождем,
Переулок твой узкий,

Под холодным дождем
Слишком яркие фары,
Бесприютные пары
В переулке твоем,

По крутым тротуарам
Бесконечный подъем,
Затерялся твой дом
В этом городе старом.

Бесконечный подъем,
Бесконечные спуски,
Разговор не по-русски
У меня за плечом.

Сеет дождь из тумана,
Капли падают с крыш.
Ты, наверное, спишь,
В белом спишь, Кетевана?

В переулке твоем
В этот час непогожий
Я - случайный прохожий
Под холодным дождем,

В этот час непогожий,
В час, покорный судьбе,
На тоску по тебе
Чем-то странно похожий.

* * *

Я боюсь, что слишком поздно
Стало сниться счастье мне.
Я боюсь, что слишком поздно
Потянулся я к беззвездной
И чужой твоей стране.

Мне-то ведомо, какою -
Ночью темной, без огня,
Мне-то ведомо, какою
Неспокойной, молодою
Ты бываешь без меня.
Я-то знаю, как другие,
В поздний час моей тоски,
Я-то знаю, как другие
Смотрят в эти роковые
Слишком темные зрачки.

И в моей ночи ревнивой
Каблучки твои стучат,
И в моей ночи ревнивой
Над тобою дышит диво -
Первых оттепелей чад.
Был и я когда-то молод.
Ты пришла из тех ночей.
Был и я когда-то молод,
Мне понятен душный холод,
Вешний лед в крови твоей.

К СТИХАМ

Стихи мои, птенцы, наследники,
Душеприказчики, истцы,
Молчальники и собеседники,
Смиренники и гордецы!

Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Едва меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.

Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,

И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закат свой розовый
И как пророк заговорил.

Скупой, охряной, неприкаянной
Я долго был землей, а вы
Упали мне на грудь нечаянно
Из клювов птиц, из глаз травы.

**МТКВАРДАЛЕУЛИ (груз.)* – буквально: испивший из вод Куры, по аналогии с термином "тергдалеули", которым в Грузии именовались побывавшие по ту сторону Большого Кавказского хребта и, шире, приобщившиеся к русскому европеизму. Термином “мтквардалеули” мы обозначаем русских поэтов, в жизни и творчестве которых Грузия оставила заметный след.

ЛАСТОЧКИ

Летайте, ласточки, но в клювы не берите
Ни пилки, ни сверла, не делайте открытий,
Не подражайте нам; довольно и того,
Что зоркие зрачки в почетной вашей свите
И первой зелени святое торжество.
Я в Грузии бывал, входил и я когда-то
По щебню и траве в пустынный храм
Баграта
-
В кувшин расколотый, и над жерлом его
Висела наша сеть. И Симон Чиковани
(А я любил его, и мне он был как брат)
Сказал, что на земле пред вами виноват -
Забыл стихи сложить о легком вашем стане,
Что в детстве здесь играл, что, может быть,
Баграт
И сам с ума сходил от ваших восклицаний.

Я вместо Симона хвалу вам воздаю.
Не подражайте нам, но только в том краю,
Где Симон спит в земле, вы спойте, как в
дурмане,
На языке моем одну строку мою.

* * *

Снова я на чужом языке
Пересуды какие-то слышу, -
То ли это плоты на реке,
То ли падают листья на крышу.

Осень, видно, и впрямь хороша.
То ли это она колобродит,
То ли злая живая душа
Разговоры с собою заводит,
То ли сам я к себе не привык...
Плыть бы мне до чужих понизовий,
Петь бы мне, как поет плотовщик, -
Побольней, потемней, победовей,

На плоту натянуть дождевик,
Петь бы, шапку надвинув на брови,
Как поет на реке плотовщик
О своей невозвратной любови.

СНЫ

Садится ночь на подоконник,
Очки волшебные надев,
И длинный вавилонский сонник,
Как жрец, читает нараспев.

Уходят вверх ее ступени,
Но нет перил над пустотой,
Где судят тени, как на сцене,
Иноязычный разум твой.

Ни смысла, ни числа, ни меры.
А судьи кто? И в чем твой грех?
Мы вышли из одной пещеры,
И клинопись одна на всех.

Явь от потопа до Эвклида
Мы досмотреть обречены.
Отдай - что взял; что видел - выдай!
Тебя зовут твои сыны.

И ты на чьем-нибудь пороге
Найдешь когда-нибудь приют,
Пока быки бредут, как боги,
Бокали трутся на дороге
И жвачку времени жуют.

Рисунки Вано ХОДЖАБЕКЯНА

ГАЛЕРЕЯ

Вано Ходжабекян (1875-1922)

...Мытарился пятый сапожников сын с самого нежного возраста – в лавке. Здесь-то и начинаются легенды и неопределенности, покрытые туманом времени и фольклора. Считается, что именно в лавке он и увидел как-то рисунки-иллюстрации Боклевского к "Мертвым душам" и воспылал желанием порисовать самому. Может, так и было, может, и нет. Но все равно красиво. Как бы то ни было, он однажды взял в руки карандаш и никогда больше не выпускал его. (. . .)

Он видел движение глазами и руками. И карандашом. Такое редкое кинематографическое видение людей, толпы, среды. Но не современное, а зари синематографа. Вано видел и запоминал, потом натачивал карандаш и водил им по бумаге. Получались вереницы тифлисского люда – пирующего, пляшущего, музицирующего, ссорящегося, скорбящего. Всякого. Живой город, динамичная жизнь, дышащие картинки. Он рисовал себе подобных. Своих. Отсюда такая убедительность каждого "кадра", каждой мизансцены, жеста, поворота головы, взгляда. Рисунки полны неслышимых звуков разноголосой толпы, пения зурны и барабанов. Равно как и рева ослиного, крика петушиного. Свадьбы (очень много свадеб), крестины, похороны, пасха – радости и печали. Целое синема. (. . .) Считается, что подлинных рисунков Вано Ходжабекяна сохранилось около 250. В Национальной галерее их около 150. Хранятся они и в грузинских музеях. Есть они и у тамошних коллекционеров, ведь художник – щедрейшей души человек, – несмотря на хроническую бедность, во множестве раздаривал свои рисунки. Их могло сохраниться и больше, не случись в 1910 году рокового пожара в доме и магазинчике художника. Сгорели и рисунки тоже. Это первый пожар в истории нового армянского искусства, погубивший произведения большого мастера. Потом в 28-м сгорели работы Сарьяна, в 72-м - Минаса. Фатальные красные петухи...

Судя по всему, Ходжабекяна любили, хотя, наверное, относились и несколько снисходительно. Еще бы! Лавочник, швейцар, а рисует. Это казалось, наверное, баловством. Как все они ошибались... Линии художника-самоучки, но никак не примитивиста, пробили толщу времени и... остались...

Карен МИКАЭЛЯН. "Судьба и карандаш". Газета "Новое время". Ереван. 01.05.2010.

Использованы материалы с сайтов www.nv.am и forum.artinvestment.ru.

ИЗ ЭССЕ Тельмана ЗУРАБЯНА "ВАНО-ДЖАН!"

(. . .)

Карандаш коснулся листа, уверенно, быстро побежали темно-серые линии по белой плоскости. ...Хохочущие лица крестьян, пустые корзины и резвый бег осликов, растянувшихся длинной вереницей. Пышные свадебные процессии, зрелищные караваны, уличные канатоходцы, плясуны, акробаты, чья арена – площадка перед домом или палисадником; кулачные бои, мусульманские религиозные праздники шахсей-вахсей, пестрые колоритные базары, винные погреба, духаны, городовые, муши, кинто, извозчики, аробщики, разносчики воды – тулухчи, кузнецы, мясники, герои и любимцы квартала – все, что составляет жизнь тифлисской улицы, запечатлевалось в памяти и переносилось на бумагу.

(. . .)

Когда Вано исполнилось семь лет, отец отдал его в учение к родному брату Гаспару, в мелочную лавку на Головинском проспекте. В обязанности мальчика входило делать кульки из старых газет и журналов. Он выполнял эту работу с охотой, листы были полны черно-белых и цветных картинок: человеческие лица, дома, дворцы, омнибусы, дилижансы – интересно!

Он научился самостоятельно писать и читать и теперь мог читать надписи под рисунками.

– Два килограмма орехов и пять пачек чаю...

Покупатели в черкесках, чохах или европейских котюмах, молодые и старые, приземистые и высокие, богатые и бедные, веселые и грустные – вопьется мальчик глазами и оторваться не может: человек – странная загадка! Как ни скрыт характер, а на лице все написано. А бывает и так, кажется, – весь нараспашку, а в глубине глаз – нераскрытая тайна.

– Ты что так разглядываешь людей? – спрашивал брат.

– Интересно.

– Ты не ребенок, ты – сам дьявол!

Этот подпоясан красивым чеканным ремнем, а тот несет огромный бурдюк. Прикрыв глаза, мальчик вдруг представляет широкий полукруг, статуи темно-вишневого или янтарного цвета...

Зайдут в лавку, нагрузят корзины мясом или фруктами и уйдут. Уйдут, но в памяти останутся. Проходит день-другой, и вдруг всплывает чье-то лицо, а некоторые так и стоят перед глазами – с длинными нескладными руками, худые,

как жердь, или толстые, чинные, с закрученными кверху усами.
– Опять разинул рот, работай...
(. . .)
В Тифлисе были хорошие учителя рисования – в Кавказском обществе изящных искусств преподавал профессор Маковский, приезжал в город немец Горшельт, автор "Кавказских рисунков", изданных в Петербурге в 1895 году. Знал ли об этом Вано? Может, он знал, может, мечтал учиться у настоящего педагога и с грустью сознавал, что бедному лавочнику это не по карману.
Он всю жизнь тянулся к художникам. А когда впервые увидел открытки – кавказские типажи известного тогда в Тифлисе художника Шмерлинга, то долго ими восхищался, не подозревая, что и сам изображает те же персонажи, но куда лучше.
Худой, высокий юноша...
И как не затягивает лавка в свою трясину, его мечты где-то там, на просторе, среди городского шума, веселья, суеты. Стоит ему вырваться на улицу – и он счастливее всех. Лица, лица – выразительные, радостные, горестные, веселые, беззаботные, расплывшиеся в глупой ухмылке. Он слышит разные голоса – звонкие, уверенные, властные, заискивающе-елейные, по голосу старается угадать человека – какой он, любуется чикилой или чихтикопи на головах горожанок – до чего же все интересно!
И видится ему Тифлис не в обыденных цветах, а в праздничном карнавале красок, – он видит свой, преображенный фантазией Тифлис.
Его любовь к своему городу была светлой, радостной; светлое, радостное постоянно жило в его сердце. Видел священника в золотой ризе, шествующего с крестом, видел, как несут по улице приданое, видел уличных плясунов, фокусников и всегда хотел понять, почему во всем – такое очарование. И одно "почему" порождало другое. Вот школа, которую прошел Вано.
(. . .)
Приходя к Ходжабеговым, я почти каждый раз просил Марию Ивановну показать фотографию отца, единственную сохранившуюся. "Вы уже много раз ее видели", – говорила она, улыбаясь при этом по-ходжабегяновски мягко, и уходила в соседнюю комнату.
По тому, как долго она не возвращалась, я понимал, что сверточек достаточно основательно запрятан. После пожара и переездов Ходжабеговы растеряли почти все рисунки и личные вещи Вано, и теперь особенно тщательно берегли то, что уцелело. Она раскрывала сверток, и, вытащив из небольшой кипы пожелтевших бумаг заветную фотографию, бережно протягивала ее мне. А я, видевший ее не раз, рассматривал снова и снова с каким-то трепетом, и казалось, словно я с ним общаюсь наяву. Это была старинная фотография, приклеенная на толстое картонное паспарту. На обратной стороне рукой Тирун, матери Вардуш Тиграновны, было выведено черными выцветшими чернилами: "Ованес Ходжабегянц".
Сохранилось свидетельство о браке: "Гр. Ходжабегян Ованес Георгиевич, 27 лет, Саноян Варданух Тиграновна, 18 лет, вступили в брак 1. 10. 1901 года. После регистрации брака присвоены фамилии: мужу – Ходжабегян (ов), жене – Ходжабегян (ова) Место регистрации: Тифлис, церковь "Сурб Ншан".
(. . .)
– Молодец, Вано-джан, хорошо рисуешь!
Подумать только, – швейцар и так рисует. Швейцар, могильщик, сторож. Нет, тысячу раз был прав художник Джотто-Григорян, написавший о трудной жизни Вано: "... В этом виноваты прежде всего его коллеги, которые уже потом, после его смерти, для очистки совести, обратили внимание на его семью". Да и обратили ли? Так, запоздало, разово.
Все та же грустная повесть.
– Мама всегда считала себя выше его, – говорила мне не без возмущения обычно добродушная Мария Ивановна.– А я негодовала: на каком основании?! А вот на каком. Она считала: "Он даже не переступал порога школы, а я окончила и притом с отличными отметками четыре класса".
(. . .)
За тринадцать лет она родила ему шестерых детей. .....
Вано боготворил детей. Водил их в Муштаид на увеселительные игры или в Верийские сады, где знакомый сторож угощал их огромными, с кулак, персиками. Бы-

вало, соберет вокруг сыновей и дочерей, играет им на дудке, улыбается. Хорошее настроение отца передавалось детям, они блаженствовали.

С нетерпением ждали они, когда отец возвратится с работы. Встречали его всегда радостными возгласами: "Айрикс галиса!" ("Папа пришел!" – ***ред.)***.

Любили его и соседские дети.

– Дядя Вано, нарисуй ишачка.

– А мне кинто.

Он рисовал для них и кинто, и ишачка, и собачку.

– Дядя Вано добрый, – говорили о нем дети.

Так думали и их родители, жители околотка, и все, знавшие его.

(. . .)

Мария Ивановна рассказывала о своем отце: "Лицо худое, немного заостренное, светлая, гладкая кожа, шатен, глаза голубые с зеленоватым оттенком, нос чуть продолговатый с небольшой горбинкой, небольшие усы и бородка, а все движения спокойные, плавные, полные достоинства".

"Взгляд открытый, чуть кроткий, – вспоминал Джотто-Григорян, – вся внешность выражала миролюбие. В нем чувствовалась большая внутренняя интеллигентность. Говорил мало, любил больше слушать. Изредка шутил".

А в памяти Ладо Гудиашвили он остался таким: "Вано был приветлив, добродушен, не слишком высокого роста, как это казалось многим (просто хорошего формата), кроткий взгляд, маленькая бородка и чистые, словно прозрачные глаза".

Как он мог радоваться! Маленькая удача или просто хороший день могли привести его в восторг. Солнечное ясное утро, что-то необъяснимое разлито повсюду, предвещает радость – так давайте радоваться! Кипит самовар; на столе блюдечко с семечками. И весь семейный ансамбль в сборе: пятилетний Гурген будет играть на д'оле, брат Бгдо – на чианури или типлипито, сестра Анико – на гармошке. Самому Вано предстоит солировать на дудке – шви. Он играл на многих инструментах: дайре, д'оле, кларнете, флейте, ксилофоне или, как называли его тифлисцы, – цимбаблахе.

Сидит, бывало, в лавке: справа счеты, слева – цимбаблах. Прикинет на счетах – ого, неплохо, удача! И тут же от костяшек к цимбаблаху – отобьет несколько веселых тактов. На семейных концертах не только родные, но и друзья исполняли песни на разных языках. У него были свои вкусы: ему нравились вальсы, мазурки, полонезы, народные песни. Он искусно насвистывал "Цицернак", мелодии Комитаса.

Как-то дочь Мариам понесла ему в театр Руставели обед – он работал сторожем. Из зала доносились звуки рояля. Отец был настолько увлечен игрой, что долго не замечал Мариам. Он любил наигрывать на рояле, особенно Штрауса. И в театре, и в кафе, где он работал швейцаром, Вано не упускал возможности помузицировать.

– Он пел, – сказал мне грузинский художник Автандил Варази. – Рисунок Вано, на мой взгляд, лучше рисунка Модильяни. А если мы еще вспомним, что Модильяни прошел школу, учился у хороших учителей. А Вано?.. Вано – просто пел.

И в другой раз он повторил:

– У Вано все лилось, он рисовал все, что было вокруг, словно стихийно переносил все на бумагу, он этим жил. Вано не создавал художественное произведение, это была песня его души.

(. . .)

Фантазия Вано черпала материал из обыденности – и тут нельзя не восхититься! Он наблюдал самую обыкновенную, простую жизнь, вовсе не стремясь к парадоксам. Окно, через которое он смотрел на мир, прозрачно, из него видится четко и ясно: Вано хотел обратить внимание людей на то чарующее, что окружает их, но чего они каким-то образом умудряются не замечать.

Он умел подчеркнуть подробности, но, если надо, умел и скрыть от зрителя детали, разрушающие цельность впечатления, отвлекающие от главного.

Его инстинкт срабатывал безошибочно. Увиденное, прежде чем воплотиться в картину, словно замирало на миг, запечатлевалось в памяти, а потом его могучее воображение перерабатывало впечатления, – что-то отшлифовывалось в них, что-то прибавлялось, а иной раз и менялось до неузнаваемости.

Наблюдательность у него неотделима от фантазии. Его память была переполнена картинами горя и радости, сценами праздников, всяческих обрядов. Он видел пьяного кинто и тут же представлял его за прилавком или на прогулке, и в результате появлялся некий синтез увиденного и воображаемого, бесконечно выразительный и жизненный.

– Вот если бы вы видели работы тифлисского художника-самоучки Вано Ходжабегова!.. – рассказывал Владимир Маяковский Сергею Есенину. – Он был дворником и умер

у ворот с метлой в руках. Его замечательные рисунки в городском музее. А при жизни он сам продавал их по полтиннику...

Легенда, неугомонная, вездесущая, прочно поселившаяся в Тифлисе, готовая выпорхнуть на волю по первому повелению, не обошла и Вано, хотя, казалось, он не был ее героем.

"Дворник с метлой", "продавал по полтиннику"– поэт говорил о Вано понаслышке. Картины художника ему понравились. Нравились они многим приезжим, да и местным любителям искусства.

(. . .)

Вано рисовал быстро, решительно, к помощи резинки он вообще не прибегал.

Он пришел в школу Шмерлинга, преодолев в себе огромное нежелание, уступив настоянию родных, друзей, знакомых, твердящих: подлинное искусство приходит вместе с большими знаниями. Но он помнил другое. Ведь однажды он попытался пройти школу рисования, но из этого ничего не вышло. ...Было ему тогда тридцать пять лет: он пришел в студию Склифосовского, известного тифлисского педагога, мечтая о знаниях, совершенствовании.

Он пришел совершенствовать то, что давно было совершенным.

(. . .)

Он ушел из студии, хотя нашел там и доброжелателей, и творческую обстановку. Дело было вот в чем. Он вместе с другими учениками пытался срисовать гипсовые фигуры, следуя строгим законам светотени, штриховки, но глаз и рука предательски подводили, – то, что возникало на бумаге, было совершенно не тем, к чему он стремился. И тогда Вано понял: он может рисовать, только повинуясь своему чувству.

(. . .)

В жизни он был тихим, замкнутым, а в рисунках его – звонкий смех, музыка, многолюдье, шум.

И тот, кто знал о швейцаре-виртуозе, способном в миг сотворить на белом листе чудо, тот его чтил. Легенда и молва не раз приводили к нему снобов, туристов, падких на экзотику иностранцев. Большинство любопытствующих бывали поражены необычностью судьбы художника, но не постигали глубины его дара, не понимали, в чем суть искусства тифлисского мастера. Они встречали у него хороший прием и увозили с собой, как сувениры, рисунки – напоминание о гостеприимном городе Тифлисе.

Картины свои Вано, в основном, раздаривал. Иногда знакомые просили его что-нибудь нарисовать, и он не заставлял себя упрашивать, тут же возникали на бумаге пирующие карачогели, сцены из кеенобы, сюда переселялись друзья и приятели Вано, облаченные им в одежду кинто, и, сделав последний штрих, он протягивал рисунок, улыбаясь: "На счастье!"

(. . .)

Тифлис, уже около полугода советский, украшенный кумачом, флагами, гирляндами цветов, встречал пятую годовщину Октября, и члену РАБИС Вано Ходжабегяну поручили писать плакаты и оформить улицы. Он делал это со старанием, с чувством долга. Он радовался приближающемуся празднику, работал, работал, не покладая рук.

– Неудобно, – говорил он. – Нужно сделать получше. Я – член РАБИС...

(. . .)

А потом Вано с утра до вечера стоял на одной из улиц Авлабара, на ветру, в холод собачий. Стоял без пальто – (пальто у него не было), наносил мазки на красное полотнище. На второй или третий день работы кто-то подарил ему свое пальто, довольно модное, с каракулевым воротником, но было поздно – Вано тяжело заболел.

Ходжабегяны нуждались как никогда. Известный в городе врач Абгар Маркович Ротинянц взялся лечить его бесплатно. Диагноз, поставленный им, не обещал ничего утешительного: крупозное воспаление легких. По тем временам болезнь неизлечимая.

(. . .)

На седьмой день болезни врач сказал Вардуш: "Теперь можете дать ему все, что пожелает!" И, виновато глядя куда-то в сторону, быстро вышел из комнаты.

Исход уже и так был ясен, но лишь после "теперь", выдавленного доктором через силу, Вардуш, быть может, впервые, по-настоящему осознала: конец.

Она подсела к постели мужа.

– Вано-джан, может, хочешь чего?

Он посмотрел на нее и кротко улыбнулся:

– Мороженого.

(. . .)

ГОСТЬ

Анна Полетаева
(Ереван)

Анна Полетаева (Андриасян) родилась в Ереване в 1972 году. По образованию математик."Взрослые" стихи пишет с 2004 года. Член Союза российских писателей.Публиковалась в альманахе "Паруслов" содружества рок-поэтов "Дождь", в журналах "Край городов", "Кольцо А", "Юность", в еженедельнике "Россия", в альманахе "Илья" - как финалист "Илья-премии".Автор сборника стихов "Лапушкина книжка" (2007 г.) и один из авторов сборника "45-я параллель" (2010 г.)

ВЕТЕР В ОБЛАСТИ СЕРДЦА

* * *

Скажите на милость – на малость – на жалость,
О ком вам томилось и кем вам дышалось,
Какое светило – остыло – постыло
На сердце разлило такие чернила,
Какие законы – резоны – персоны
Настолько исконны, настолько весомы?
И как удержать вас, скажите на милость –
всех тех,
у кого
ничего
не случилось...

* * *

А может быть, стоит начать это все с нуля?
Локальный такой потоп и почтичтобог.
Не ради забавы, а токмо лишь пользы для
Опять завести себе жизнь, как заводят блог.
И взять в нее тех, кто прошел немудреный квест –
И смог в нем остаться хотя бы самим собой...
Но то заморочки с подсчетом ковчегомест,
То снова оглохнет вполне подходящий Ной.

А то вдруг оглянешься – как же их так, за раз?
Ведь есть же надежда, и вложен немалый труд...
Зевнешь – и махнешь рукою: четвертый час.
Авось обойдется...
Пускай еще
поживут.

* * *

Оттолкнись от нового "не могу",
и об этом, слышишь ты, ни гугу
никому – ни другу и ни врагу,
заскочи куда-нибудь на бегу,
не читая номер.
Не считая взглядов и этажей –
так, как будто рядом, уже-уже,
самолет садится на вираже,
только ты, проспавшая, в неглиже,
в незнакомом доме.
В неизвестном мире и временах,
где развеян острый, колючий страх
на семи холмах, на семи ветрах,
каждый вдох отчаянный им пропах
и пустил по венам.
Допустил возможность срываться с крыш,
нашептал в затылок "летишь, летишь",
человековек, человекостриж,
колокольчик, смех – "позвони, Малыш",
только где нам, где нам...
Где вписаться временно навсегда,
чтобы свет, бессмертие и вода,
где не рушат веры и города,
"никогда, любимая, никогда",
ни за что на свете.
Оттолкнись от твердого "не хочу",
бормоча "отстаньте, лечу, лечу",
кто-то сзади дышит, крадется, чу,
панибратски хлопает по плечу...
Ветер. Ветер.

* * *

Это осень. Китайский шёлк.
Церемония нежной смерти.
Будто ветер легко прошёл
Анфиладой пустых предсердий
И оставил там звон, не звон –
Отголосок немой печали...
Так звучат голоса икон,
И кончается путь в начале –
Замыкая себя в кольцо,
Надеваясь на лоб терново
Оголённым до слёз венцом,
Оголённым до смысла словом.
На обломках былых святынь
Только это и будет свято…
Почему-то всплыла латынь:
Ite, vale – et me amata.

* * *

Налей вина – и выпьем, друг Сальери,
За то, что мы с тобою не враги,
За наш уход из видимых материй –
И в собственные вслушайся шаги,

Пока они расплывчаты и зыбки
В звучании, и место есть еще
Случайности – божественной ошибке,
Не принятой гармонией в расчет...

* * *

Учительница музыки скучала,
вертела в пальцах красный карандаш...
(Не горбись, выше кисти, все сначала.

Запомни, ты экзамена не сдашь).
Учительница музыки скучала
и теребила крупное кольцо –
серебряное, кажется, с опалом –
на тонком пальце, хмурила лицо,
смотрела, мимоходом отмечая
увядший бант, чернила на руках
и завиток за ухом – цвета чая,
не выпитого утром впопыхах.

Привычным, бессознательным движеньем
(Легато, сколько можно повторять!)
разглаживала юбку на колене,
листала перемятую тетрадь...

А девочка сбивалась раз за разом,
на том же месте (Стоп, диез, диез!),
испуганно косила карим глазом –
почти возненавидев полонез,
себя, ее и крышку пианино,
в которой отражался этот день –
сияющий, безоблачный и длинный –
и музыки насмешливая тень...

ДУДУК (ДЖИВАНИ)

Случайным именем своим,
Бездомным ветром високосным
Пои, безвременье, пои –
И обжигай язык и десны
До непорочной немоты,
До цвета спелого граната...
Слова летучи и пусты –
И лишь не названное свято.
Оно клубится в глубине
Незадаваемых вопросов
И выдувается вовне
Из полой ветви абрикоса
Такой печальной простотой,
Такой тоской по совершенству –
Неисцелимою тоской –
Что приближается к блаженству.

И нет звучания родней,
Чем эта песня среди битвы
Ожившей глины – и камней...
И нет прекраснее молитвы.

* * *

А ты все вертись, добывай опостылевшим трением
Свой миг забытья, ненадежную искорку жалкую –
И млей, как туземец, пред легкою магией гения,
Когда он небрежно играет своей зажигалкою,
Забыв прикурить – и уставившись взглядом невидящим
В то небо, куда тебе нет ни пароля, ни допуска...
Откуда он сослан на долгие ночи в чистилище,
На темные ночи в далеких божественных проблесках.

* * *

Все шепчет и шепчет прощальное эхо,
Слова раздевая до голых клише,
Грехи образуя из мелких огрехов...
Но нет ни шампанского, ни Бомарше.
Есть чай и варенье из грецких орехов,
Беззвучно и горько смеющийся Чехов –
Редчайшей из всех разновидностей смеха –
До боли и света в душе...

* * *

Он еще не приехал – а ты уже знаешь до слова,
До улыбки, до жеста, как будешь прощаться у стойки,
Как взлетит самолет, что судьбою уже зафрахтован –
И, обдав ветерком и угаром, навязчиво-бойкий,
Тормознет свой рыдван загорелый таксист-прилипала
И предложит домчать хоть куда без пустых церемоний...
Он еще не приехал, а ты оглянулась устало –
И закрыла глаза, и лицо уронила в ладони.

* * *

Закрывай глаза и считай до ста –
Темнота спасительна и знакома...

Я устала, Господи, я уста...
01, 02... Вызываю помощь.
Я горю, тону, я лечу с моста,
Я расшиблась в сотне чужих аварий –
Объявляй внимание всем постам,
Я уже почти задохнулась в гари...
Этот ветер, ветер-рецидивист,
Он ломает дверь о мои ладони –
Ну, включи сирену, хотя бы свист...
То есть как – пустяк, то есть как – не тронет?
Ты уверен, точно?.. 06, 07...
Все ушли на фронт, разошлись по базам?
Нет, конечно, верю – но чтобы все,
И сейчас, так вовремя, все – и разом...
Сколько там осталось еще до ста?
Досчитаю, выдохну – станет легче.
Я устала, Господи, я уста...
Снова Моцарт. Ясно.
Автоответчик.

* * *

Простите мне – но вы с другой планеты...
Да, я вам улыбаюсь и машу –
Но вы иными солнцами согреты,
И ваш второй заплечный парашют
Не оставляет шанса породниться...
О девочки, летящие с небес,
У вас такие розовые лица
За скобками трагичных СМС,
Что мне порою совестно пред вами
За бледность и седые волоски,
За неигру прозрачными словами,
Невыдуманность боли и тоски...
О девочки, не знавшие падений
Без ангелов, парящих за плечом...
Целую ваши маленькие тени,
Которым поцелуи нипочем.

© Анна Полетаева

РАРИТЕТ

Булат Окуджава

Всемирно известный Булат Окуджава и "раритет" – не парадокс ли? Нет, не парадокс. Надо сказать, что "запретный", согласно распространенному мифу, Булат Окуджава регулярно и непрерывно публиковался и издавался. Первый сборник Булата Шалвовича "Лирика" выходит в Калуге в 1956 г., второй – "Острова. Лирика" – в 1959 г. уже в Москве. А первая известная нам публикация в газете "Боец РККА" относится к 1945г. *. Элла (Коммунелла) Моисеевна Маркман, предоставившая этот материал специально для нашего издания:

– …Это очень ранние стихи Булата Окуджавы, 43–44 годов, насколько я знаю. Они вряд ли кому-то известны, кроме меня, 80-летней слушательницы его стихов того времени. И если есть еще на свете кто-то, кто их слушал или знает и помнит об их существовании, то прочесть их вряд ли кто сможет. (Булат, насколько я знаю, никогда не публиковал этот материал, вероятно, считая его незрелым и несколько подражательным. В текстах возможны некоторые мелкие неточности, но за 98% от общего объема я ручаюсь.

* См. альманах "На холмах Грузии" № 2, 2005, сс. 80-81. *(http://kholmy-gruzii.klamurke.com)*. Отметим, что ни тексты, републикованные в альманахе "На холмах Грузии", ни предлагаемые стихотворения в сборник серии ББП: Булат Окуджава. Стихотворения. СПб. 2001, не вошли.

* * *

Я живу на старой голубятне,
У окна трехногая кровать,
Чем без дела быть, куда приятней
В непогоду с ветром ворковать.

Родственникам нет дороги в дом мой,
Детство отошло еще вчера,
Только ты, как прежде, незнакомой,
Коротать приходишь вечера.

Странная, непонятая, кто ты?
Седина ль просоленных камней,
Вьюга ли, что стынет над болотом
И обсохнуть просится ко мне,

Молодость ли, женщина, удача,
Все, что не успело обогреть,
Долгий путь, который только начат,
Солнца ли проржавленного медь?

Ты приходишь в дом с весенним ветром,
С ворохом привычек и причуд,
Не с того ль до самого рассвета
над тобой, как нянька, хлопочу,

Не с того ли я, услышав пенных,
Разудалых песен перелив,
Заклинаю выцветшие стены,
Чтоб тебя, как око, берегли.

* * *

Ты потихонечку вошла бы
В мой дом, в мой старый дом ко мне,
Стряхнула б дождь с помятой шляпы,
Блеснула б радугой камней,
И за простое счастье это,
Что синий мрак с собой принес,
Пошел бы я искать по свету
Осколки августовских звезд.

* * *

Напрасно, может быть, и зря
Ты показалась мне стыдливой,
Не потому ли, что заря
Вдруг заалела над заливом,

Не потому ли, что она,
Зардевшись где-то на востоке,
Плеснула краску из окна
Тебе на матовые щеки.

* * *

В окне голубеют далекие земли,
Во сне сирень под окном цветет,
И нет тебе, если ты задремлешь,
Ни дна, ни покрышки, ни снов, ни забот.

Бывает в небе, <весеннем> небе
Сверкает осколками детского сна
Такое <праздничное> великолепье,
Такая нежданная голубизна.

Бывает лучше, любовь бывает,
И я, оставаясь один в темноте
И от усталости изнывая,
Тебя ожидал и тебя хотел.

Но там, где сирень отцветала и мокла
За пылью дорог, за щетиною рощ,
Тебя отражали немытые стекла
И вымытый начисто мартовский дождь.

И ты, лишь только меня завидев,
Бежала прочь от моих ворот…
Я гнал тебя, я тебя ненавидел…
Но в жизни все это наоборот.

* * *

К нам дни одинаково были не ласковы,
Одной непогодой нас било. А нынче
И к Вам под ресницы с неба январского
вползло холодное безразличье.

Бывает, в дороге ненастье завертится,
И <снежные> вихри закружат, как черти,
И все же, у жаркого пламени верится
В свое неосознанное бессмертье.

Но стоит огню завьюжиться начисто,
Уже над тобой, и бессильным, и павшим,
Хрустит, раздирая хрящи, одиночество
Взъерошенным волком, тоскливым
и страшным.

Я все неспроста это, милая, высказал,
Мое постоянство считая по зимам,
Когда Вы глядите, бесцельно и искоса,
То холод становится невыносимым.

Как будто, примчавшись с полярья
далекого,
Здесь ветер раскинул промерзшие
крылья,
Как будто в моем прокуренном логове
Остатки костра покрываются пылью.

Но если к плечу голова Ваша клонится
И лижется в щеку каштановой прядью,
Тогда мне не надо ни дома, ни солнца,
Ни всей бестолковости этих понятий.

Какое безумство – любить до отчаянья,
Какое блаженство – на кресле плетеном
Внимать Вам, когда, появившись случайно,
Мурлычете, словно пригретый котенок.

И зная, что в этом мурлыканье кроится,
Какие под шерсткой припрятаны когти,
Я все ж не усну, если с Вами бессонница,
И даже примчусь, если Вы – позовете.

Но знайте, родная, что хуже, чем бедствие,
Чем боль, разрывающая на части,
Такое, казалось, простое соседство
Со мной, прозевавшим нежданное счастье.

* * *

В любви, как обычно, на сторону клонит,
Сегодня ж обычай, прежних странней –
Подруги уходят любить посторонних,
А мы остаемся с тобой в стороне.

О том, что в тупик забегает дорога
И жизнь обрывается, заголосив,
Продумано так бесконечно и много,
Что жалко потраченные часы.

Так к черту ж тогда всю тоску о финале!
Я свято храню опрометчивость губ,
И тех, что еще не ушли и остались,
Я тоже немножечко берегу.

Они же приходят <всегда > под вечер,
Смеются, шею руками обвив,
И я иногда становлюсь застенчив
В этой придуманной мною любви.

И это как будто бездонность колодца,
который мы не смогли осветить.
Смешно существую, но так уж ведется,
И вот мне хочется повторить,

Что в каждой любви на сторону клонит,
Сегодня ж обычай, прежних странней –
Подруги уходят любить посторонних,
А мы остаемся с тобой в стороне.

Ну, что ж, есть прекрасная сказка на юге,
И в ней говорится, что мир – это круг,
Что, если к другим уходят подруги,
Судьба присылает чужих нам подруг.

Неизданная книга

Виктор ЦХВАРАДЗЕ “Мистификации”

Виктор Цхварадзе скончался скоропостижно в Москве 19 ноября 2003 года. Незадолго до этого в российской столице вышел в свет его поэтический сборник "Подмости". В предисловии к нему легендарного метаметафориста Александра Еременко, помимо прочего, говорится: "Не простую книгу ты держишь в руках, уважаемый читатель. Эту книгу придется не листать, а читать. Поэтому, если поэзия для тебя – своего рода лекарство (а так тоже бывает), то возьми другую книгу. Эта книга не лекарство, а скорее… рецепт его изготовления.
(. . .)Читатель скажет: "читать это невозможно". И будет по-своему прав. (. . .) Бесконечное плетение прихотливых фонетических ассоциаций "живого разнотравия слов" кому-то покажется оранжереей безумного садовника, который вплетает и культивирует, окультуривает, выравнивает и простраивает живой словесный материал. (. . .) Превращает в тщательно выверенные на слух и безупречно пунктуационно оформленные строки, абсолютно пренебрегая при этом законами восприятия речи… и, в общем, тем, что называется здравым смыслом." (. . .)

Виктор Владимирович Цхварадзе родился 14 января 1951 года в городе Лиски Воронежской области. Детство и юность провел в городе Ткварчели (на западе Грузии). Учился в Москве и в Тбилиси. Окончил Грузинский политехнический институт, работал по основной профессии инженера-конструктора гражданского строительства, в юности мечтал стать художником. Писать начал неожиданно, чудом выжив после тяжелой хирургической операции. Случайное знакомство с известным критиком и культуртрегером Георгием Маргвелашвили (1923 – 1989) повлияло скорее на его литературный кругозор и стихотворную практику, чем на творческую судьбу. Тем не менее, в 1981 году появились две подборки его текстов в №8 журнала "Литературная Грузия" и в сборнике "Дом под чинарами".
Открывшаяся в 90-х годах возможность издавать книги собственными усилиями стимулировала осуществление авторского книжного замысла. Проект состоял из 4-х сборников, каждый из которых включал по 4 раздела. Тетралогию открыла книга "Органические соединения", вышедшая в Тбилиси в начале 2000 года, затем последовали "Подмости", появившиеся в конце 2000-го, дорабатывались книги "Мистификации" и "Триглиф". Образная сложность, плотность текста, лексикон (пожалуй, и его объем) от сборника к сборнику неукоснительно возрастают. Помимо этого, автор продолжает неустанно работать над текстом, порой не то что редактируя, а полностью наново переписывая его (притом не оставляя прежних редакций, вполне заслуживавших лучшей участи). Таким образом, в Москве, в месте вынужденного нового проживания автора, появляется вторая версия "Подмостей", практически не дублирующая свою тбилисскую одноименницу (совпадают разве что названия разделов). (. . .) Две следующие книги, сохранившиеся в рукописях, надеемся, ждут своего издателя и читателя.

Возвращаясь к предисловию Александра Еременко к московскому сборнику "Подмости": "...Это не поток сознания. Это строго организованный, где-то даже логически выверенный (внутренней логикой языка, не линейкой) поток слов. В первую очередь – это явление языка, а не души. И автор умеет отдаться этому потоку и дать развиваться стихотворению не по прихоти автора, а по внутренней прихоти самих слов, языка. Это большое достоинство."

Журнал “АБГ”. №8. 2004.

Александр УЛАНОВ
ПЛОТНОСТЬ ХАОСА*

...И пресса,
как дамоклов меч над "камасутрой" саламандры
для неоднократно мытых на ночь авторучек, и с полупарапета медиа-моста в статисты какой-то чей-то олух скейтбордистом, и кадр, с венесуэльских роликов
чихающий на правила и графики движения...

Этот текст постоянно переливается, переходит из одного состояния в другое. Как за ним уследить? Как он сделан?
Виктор Владимирович Цхварадзе большую часть жизни провел в Тбилиси. (. . .) В 2000 году в Тбилиси вышли два сборника, однако в 2003 году Цхварадзе назвал вышедшее в Москве собрание "Подмости" своей первой и единственной книгой. Зимой 2000 года переехал в Москву, но, видимо, почти ни с кем, за исключением Александра Еременко, там не общался. Осенью 2003 умер от сердечного приступа[1].
Остались стихи. Безусловно, произведения Цхварадзе – не "автоматическое письмо" сюрреалистов: они написаны вполне сознательно. Цхварадзе стремится к максимальному уплотнению текста. Постоянный прием – компрессия двух смысловых узлов в один: павловская собака оказывается на сухом сене; мечут – икру и молот; звездная карта – тоже карта и может быть разыграна. *"С псом прогуливаю два урока по "бродвею""* – двойное значение слова открывает и прогулку, и свободу.
Что может рваться? Выстраивается ряд разнородных согласований: *"Не рвутся джинсы третий год кряду, / рвутся в начальники, отношения, снаряды". "Количество галстучных узлов / как скорость миноносца"* – ведь скорость корабля тоже измеряется в узлах, и у миноносца их обычно много[2]. Кажется, что Цхварадзе задался целью использовать все существующие в русском языке омонимы. Но иногда возникает впечатление, что он при этом ведом скорее словарем, чем логикой образа. Если Рига, то тут же появляется и развалюха-рига. Не начинает ли прием автоматизироваться?
Однако логика образа Цхварадзе имеет достаточно разнообразные, а не только словарные основания, и запас метафор у него весьма велик. Часто ассоциации имеют зрительные основания. Шлагбаум голосует за и на шоссе. Или звуковые: в словосочетании "часов наркоза" явно слышится "совнархоза" – или это советский наркоз? (Похожие приемы, восходящие к футуристическим "сдвигам", в современной русской поэзии активно разрабатывает Александр Горнон[3]).

---

* Речь в статье А.Уланова “Плотность хаоса” идет о московской версии книги “Подмости”, вышедшей в 2003 году, однако основные характеристики верны и в отношении всего остального творчества В.Цхварадзе.

Пушкинская Танечка, уронившая в речку
кучера, кусачкам монтера – "искушайте меня"…
Детский стишок о мячике наслаивается на "Евгения Онегина", тема искушения резко заземляется – "искушают", оказывается, кусачки монтера. Часто, хотя не всегда явно, Цхварадзе применяет номинативный ряд – имена, возникающие в задуманной автором последовательности, ведут рассчитанный поток ассоциаций.
…На мертвой петле вьюрка,
как на лазейке, решетка, ретушь,
метаморфозы с небом… оберткой яблоневой тле
римский папирус из ящика для кошки…
ставленник забывчивого гербария…
На творчество Цхварадзе стоило бы обратить внимание лингвистам. Тексты тбилисского поэта стали бы для них отличным материалом для исследования, – подобно тому, как растение с огромными клетками является находкой для изучающего клетку биолога.
Часто поэзия Цхварадзе основана на приеме подмены, когда в строке оказывается не то, что ждешь. *"Какой облицовкой отделаны бальнеологические ванночки для приема ржавчины из водопроводных систем со многими неизвестными и подрастающей в кабельной катушке связи между отсыпающейся куколкой шелкопряда, родом парадиза и столыпинской реформой на сеновале?"* В таком мире возможно все, что угодно. Сдвиги подсказывают странные конверсии слов, превращение одних частей речи в другие. *"По жестянке тяпкой / в мир зеркал крадучись"* – показан то ли удар по блестящей поверхности жести, то ли это жестянка такая: тяпкая, топкая...
Мир Цхварадзе чрезвычайно разнообразен. В то же время возникает ощущение того, что стихи слипаются, представляя всегда одно и то же – хаос жизни в современном городском пейзаже. Туда падают и слова грузинского языка и реалии современного Тбилиси – и растворяются в общем беспорядке. Странный гибрид Дали и Пиросмани! Никакой эволюции стиха или языка в сборнике не видно, все тексты кажутся написанными в один день.
И чтение каждого из них очень затруднено – перебоями ритма, изменениями лексики. (Только одного современного поэта мне настолько же физически тяжело читать – Михаила Генделева.) Даже если и есть строфы, – предложение в них, как правило, не умещается. Оно тянется, тяжело ступая переносами, ветвится, меняет субъект действия.
Колючей проволокой самоанализ чайных роз в вазах
небьющихся хрусталиков, где обезьяной как-то лазал
сомнений и догадок опасливый кивок, не для того,
чтобы на реях папоротников, гирляндами, –
букашки всех мастей…
Скрежет языка, напоминающий – почему бы и нет? – Державина. *"Комбикорм / гранул Эи и рудничной крепью / бронз пунктиры. Почти зол керамзит / на самшит, на елейный в нем трепет / черт тепличной коры"*. Это почти современный эпос. Сходство с эпосом усилено тем более, что автор из стиха самоустраняется, местоимение "я" практически отсутствует. Только взгляд и речь. Или дело в работе на грани с фонетикой Закавказья? Имея три согласных подряд в собственной фамилии, можно соединить встык и пять: *"мехов бунт с ржанием"*.
При чтении Цхварадзе возникает огромное количество вопросов. Даже определить место этого автора на карте русской поэзии XX века очень сложно. *"В патлах / грача, с штыками вниз, створ вроде бы / был инфракрасному излучению на атлас / без листа с Европой"*. Чувствуется близость к ленинградской "филологической школе", особенно к Михаилу Еремину. Но и расстояние от них не меньше. Есть и другие вопросы: о том, насколько поэтика Цхварадзе является тупиковой или дает возможности для дальнейшего развития. Насколько долго можно выдержать поток ассоциаций, прежде чем он начнет растекаться во все стороны, стирая себя, превращаясь в броуновское движение? Михаил Еремин не зря ограничил себя во всех стихотворениях восемью строками. У Цхварадзе и восемьдесят строк – не редкость, причем текст кажется еще более ассоциативно плотным, чем у сверхнасыщенного Еремина. Где та грань, где ассоциативный ряд превращается в личный язык, не помогающий никому, кроме своего создателя (да и про помощь автору мы ничего не знаем)?
…И навалом
булавки на танцующей с Отелло твист Кармен,
и Арсен из Марабды под знаменем Щорса на Наварру.
Опыт хаоса? Да. Звено, соединяющее полистилистику Нины Искренко и метареалистическую поэзию (скорее в варианте Парщикова)? Но текст Цхварадзе содержит именно пребывание, а не изменение. Не случайно Михаил Эпштейн называл одним из характерных признаков метареалистической поэзии метаморфозу[4] – а у Цхварадзе они редки. Похоже, что метареалистическая поэзия невозможна без метафизики, без той или иной философии[5], которой у Цхварадзе практически нет. А в те моменты, когда Цхварадзе относительно прозрачен и уравновешен, у него появляются интонации, сопоставимые с Бродским.
Кумыс тумана на эскалаторе реки туманно намекает, что щучий норов белуг – числитель формулы, в знаменателе – грехи юности...
Достигаемая Цхварадзе семантическая плотность текста часто растрачивается на описание, на уголовную хронику (*"звонил к министру легких промыслов Япончик"*), на устаревшую риторику (*"мои плоды воображения, к часу потех / не возносясь парами, хины горше"*).
"По саженцам выстрел / холостыми пихты из кустов, и согретая бойлером / рейсшина – без сопровождения по параллелям, / опережая мысли". Эти стихи, видимо, действительно опережают мысль и автора, и читателя, – и хотелось бы понять, проследить, куда они уходят. Все более нарастает ощущение того, что русская поэзия и проза второй половины XX века настолько богаты, что в них, кроме сравнительно известных имен, есть много других, не менее интересных авторов, которые открыли иные, до конца не осознанные возможности, более резко, чем в известных нам случаях, поставили те или иные "вопросы литературы". Так вышло на поверхность творчество Владимира Казакова[6], так ныне выходит творчество Игоря Юганова[7]. Работа филолога и критика – открывать и принимать во внимание и эти, и другие, ранее неизвестные имена.

Журнал "НЛО". №71.2005.

1) За сообщение этих биографических сведений автор благодарит Анну Шахназарову и Михаила Ляшенко.
2) Узел - морская миля (ок. 1,852 км) в час.
3) Пример из стихотворения Горнона "Ах полеполеглоты...": "как из избы с орбиты / нет леньки и нетленки / явленье афродиты / снимающему пенки…" (1986) - см. в авторской графике: НЛО. 1995. № 14. С. 276.
4) Точнее, особый вид метаморфозы, который сам Эпштейн назвал метаболой. "Если на синкретической стадии искусства явления превращаются друг в друга (метаморфоза), а на стадии дифференциации уподобляются друг другу чисто условно (метафора), то на [современной] стадии синтетической они обнаруживают причастность друг другу, т. е. превратимость при сохранении раздельности, интеграцию на основе дифференциации (метабола)" (Эпштейн М. Что такое метареализм? (1986) // Литературные манифесты от символизма до наших дней / Сост. и предисл. С. Джимбинова. М., 2000. С. 522).
5) См. подробнее: Эпштейн М. Указ. соч.; Голынко-Вольфсон Д. От пустоты реальности к полноте метафоры // НЛО. 2003. № 62.
6) О Казакове, к счастью, написано уже довольно много. См. библиографию в третьем томе издания: Казаков В. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1995, и дополнения к ней в: Казаков В. Неизданные произведения. М., 2003.
7) См. мою рецензию на посмертно вышедшую книгу И. Юганова: Уланов А. Голограмма // НЛО. 2004. № 67.

Виктор Цхварадзе

Из неизданной книги "МИСТИФИКАЦИИ"

ПЕРЕВЁРТЫШИ

С заверением в лояльности, на арапа
в епанче шпилькой отколотой луны
дрозд окопался, начал было лапать
берёзы трелью, да резвятся колуны.

* * *

Один другому в отеле не гранд,
в общаге пятизвёздночной по-нашенски,
как крику диез.
Тактические учения, куда ни глянь,
большая политика, фракции и там, и здесь,
в пылу перестановки мебели гидами
на ветер выброшенный прах
глобального,
соизмеримого с руками,
чей глянец с глянцем меченых чёток
отсвечивает иерусалимскими молитвами.
Но среди Павловских собак как,
на пажитях холмогорья камень
за пазухой пестуя,
как что-то,
что держит за лацканы ливрею,
что не для забавы, не для резной кости,
породе холмогорской быть? Лечь костьми
раньше, никому не веря,
умела и жаждала в струпьях коросты
с боем часовенка: "Всю, всю возьми,
чтоб сладко и больно!"... Сам себе барин
призраков признак, и берёт перекопы
в слюне травоядных бестия одна.
Хочешь, расти трава,
волнуясь и шелестя, хочешь – в гербарий,
но пастырский опыт так не накопит
на поголовье стада осадки дня,
силы и памяти провал.

* * *

Безрукавка не против
потерянной совести ока, что за око
бескозырки – интерьер палаты ума,
а за краткой
формой прилагательного, выше крика
души, – будущность женитьбы на евро –
стандарте лоскутного одеяла.
Тазобедренным боком
выходящая мыльных пузырей закладка
экзотикой тропических висельников –
ананасы, бананы – с деревьев
обзванивает знакомых.
С рупором
сортира в объедках из мусорки,
шут с ними, с упакованными, но ты-то,
для полной ясности на себя конверт
едва напялившая, как синий чулок,
зачем глумишься над жупелом,
хоронишь за рулём полуторки
лучшие километры?
Чтобы картой крытой
открещивалось от популярности жертв
в античном храме отпетое мурло,
с гривной гривы регистрируясь?
Лучше, млея, скинь
бремя ночёвок и забот, на номер
июльского "Огонька" увеличившись,
и встань на тупые носки
из прошлогодней стирки в моей пойме.

* * *

Небо с изъяном.
Полировка тучами не удалась.
К трубке с концами в воду водолаз
или наводнение лба грёзами,
поверь, с тебя спрошу,
прослыв подпиткою трахейному хрящу.
Тренируясь с мастерами по метлаху
в ритме вальсирующих пар, ещё безус,
на шведской –
спиной к советской – стенке
с калибром близорукости дав маху,
в кружок авиамоделистов запишусь
плести кружева на пони. Левый шенкель –
в путах Хариты-Грации, правый - в прениях
с главным на таможне, где всё можно.
Компонент варенья
с высоким мнением о себе в тени аллеи
прошибает пот, а тот – полы, перроны,
на самом интересном "моменте" клеит,
не оторвать ничем, и ко сну клонит.
Дневальный, на ночь глядя,
в кривые зеркала
с зазубренными зубьями – была не была!
Трусит искры из глаз, потом под хвоей –
по делению клеточек…
Язык усвоен.

* * *

Бычками сомы. Навыкате звёзды.
Громовержцев тачанки. Индуской
извиняясь за колечко, за ноздри,
буйвол воет. Болотце-то – душка,

как грязелечебница.Что было?
Продразвёрстка. Вырос пастернак.
Рысака в кизяк впрягла кобыла,
в том замешанная, что стерня,

понедельник, кнут и Мойдодыром
мойщица витрин увлечена, что вся
чистоплотность мимо – с миром,
тормозя на окрик... Спал босяк.

* * *

Две правды лотосов Копет-Дага
мою – на запасный путь: без люков хоппер.
Эхиурид из тела самки, кажется,
вещал о разных,
на первый взгляд, вещах
не без тут как тут шабашников-варягов.
Например, что на толкучке в некой Хопе
между эфенди и фраером нет разницы,
что жизнь одна,
тем более на славных щах...
Параваны в угле нейтральных вод
(трофеи аргонавтов, мировых, катранов),
в мерцаниях океанических созвездий
и агар-агара
с проводом перерезали,

отрывая от водорослей углевод,
пуповину у глубокомысленных мин. Рано
в бредне морского петуха бредни
не задевают за живое,
рано украшены плерезами.
И я, не беззубка, не трубач, как моллюск,
без шампанского,терзая солнца альтруизм
командой "вира", – в стоячие воды мифа.
В лежачем положении божеству молюсь.
Моток нити Ариадны.
К дореволюционному сыску иск.
С теплотою встреч на ринге калорифер.

* * *

Чад. Невпопад трубы молчат.
С шестка сверчок, как донор
тишины, что не против – к барьеру,
не имея дело к кордону.
Без умолку верещит.
Под руинами эпонимов тайник
латаным латам из кучи разного.
Бзик отпетых фигур, в Калидонии
поохотиться, – не игра в поддавки,
не тайга, не Таймыр.
Никому неохота греть руки на этом.
Впереди перекур – позади, и песня спета.
кривой позвоночник тропы.
Но подорожник и модуль
упругости шага – дикорастущие, массой
заземлены, всё нипочём, и очень рано
сошлись на мостках театра с бараном.
Валит, как из-под крышки кастрюли,
водянки пар
из окающей по-вологодски Этны
к протеже, к принятому туманом в пай
дыму отечества от яблоневой ветки,
из охреневших кочегарок.
Нет, даром не пропал
к ранам прилагаемый столетник,
как правило, колючий шалопай.

В ПАУТИНЕ НА ОБЪЕКТИВЕ

Не геральдический единорог, китовый
распилен лобзиком на дольки кое-как,
и с пантомимой гривенника вровень
озвучен породой обогащённый акр.

* * *

Ходу часов, тик-так – и так, и этак,
для паров отдушину в сарже, как в саже,
не загнать в угол цвета бордо.
Не как-нибудь, всерьёз
в квартирной западне трудным и с метой
от лёгких прикосновений губ пассажам
развеян слепок с Бриджит Бардо.
С джинсами курьёз.
Вино и выбитые пробки помогли,
когда заводящего бой, в порядке нерва
не хватило на внятность за гардиной.
В решётке паука
бейкерстритского камина come in.
С сугубо свойским кворумом Евы
полоска света, как гильотина.
Отхваченная моя рука.
Запасшийся терпением партактива
чек на потусторонний экскурс в раме
с клюющим на всё рекрутом жреца
скорых решений…
И на ночь чтиво
на странице не про это, на софе с чехлами,
протёртыми от ловли лени на живца,
так и лежит, не просит есть.
А у меня терпенье есть.

* * *

Скульптуре, в том числе и музейной,
мой друг отказывал наотрез.
Зачем, когда живая –
руку протяни,
не протянуть бы ноги. Зеей
зовут и кличут, в вину – родной отец,
без философских стен Фейербаха
воздвигший крепостные,
с фасадом, лазом…
Прилично ли, не спрашивая меня,
ему, скоросшивателем нанимаясь,
не жокеем, вдеть разом
древесной исповеди лапти в стремена
амёбы, как перекати-поле давно,
недавно – как сабантуя
образчик?
И, задёрнув солнце шторой,
тень на плетень бросает фигурист,
не преуспевший в гравюрах
типа "не забуду мать родную"
и в обязательных узорах школы.
В программе произвольный - портретист.

* * *

У буйвола, в арбе вразвалочку, напарник –
засевший в орешнике заката брак.
Чинар пунктиры.
В меридианах сванок парни
парням в тени панам делают знак
"секир башка".
Обмен веществ нарушен.
Туман своим вниманием обогрел
привычку вишен серьгами дрожать
за сенный запах из конюшен.
Вгрызся одним концом в плуга огрех
серпик луны – будет жатва.
Как на дрожжах,
на приусадебной толкучке многоватный
раздел имущества бабья за сорок.
У кукурузы распушился ватник.
Рога в рога – козлята,
мелочная ссора.
Рисуется дрозд на прутьях перелеска.
Дамочка, в пешках у скотовода, в полемике
королевы с полным собранием сберкнижек
за десять лет ни на йоту не наудив,
зашивала леской
на мели с десятью ртами мельнику
дырку в заслонке и, держась ближе
к детскому лепету в канальчике
взрослых суждений
о помоле через жернова,
эротично обсасывала "дамские пальчики".
Тюремного окошечка квадратный овал
с бархатным тембром плёнка в кадре
ситцу с подсолнухами предпочла.
Коттеджи в хвое для шишек
обошли стороной глину просёлка,
и гончар не в обиде,
что в Адлер
поплелись обжигаться горшки.
Там море по колено, там тише…

АНОНИМ

Канатчикова Дача

Под таким странным псевдонимом с недавних пор появился этот автор в сети. И, несмотря на дезориентирующую топонимичность ника и широкую географию – Россия, Израиль, Грузия, Литва..., – отразившуюся в текстах, тбилисское происхождение автора и его бытийное отношение к Грузии стало для нас несомненной данностью.

У ЦЕРКВИ ПЕТУШИНОГО КРИКА

Здесь не бывает слишком поздно.
Здесь небо, патокою звездной,
стекает с кромки куполов.
Всему свой срок. И несерьезно
нам теребить котомку слов.

Что время? Спрессовалось с нами:
кому-то крест, кому-то знамя –
все стает с криком петуха…
Светает. Тот, чье имя "камень",
поймет нас. Он – не без греха.

ПИСЬМО В ПИТЕР

И снова питерская сырость –
в душе, как патины осадок…
Верни мне, Питер, сделай милость,
сюжет Таврического сада.

Там – "и Тотоша, и Кокоша",
и та же чопорность – "на Вы".
И я – на тридцать лет моложе,
и ветер, росчерком, с Невы

подхватит и направит – "К блинной!"
И в окнах гам – пивбар "Медведь"…
Там жизнь казалась длинной-
длинной
и звонкой, как Петрова медь.

Любовь со сфинксом – было дело,
зрачок сощурив, в цвет реки,
он спросит: "Как ты? Не болела?
У вас в Тбилиси – сквозняки..."

Я сяду на гранит ступени.
И, пусть весь мир сойдет с ума –
мы будем рядом: свет и тени,
Тбилиси, Мойка, кутерьма…

КАУНАС. КОНЦЕРТ КОЛОКОЛОВ

"В шесть без пятнадцати он будет.
Маэстро. Гений". Скользкий снег.
А город, в ледяной простуде,
не мог поднять замерзших век.

Готическая колокольня
сосулькой в небо проросла.
Он шел с трудом. И было больно
смотреть, как сильно он устал.

Старик в ушанке, так привычно
сутулясь, варежки снимал.
И было все – не артистично,
толпа, а не концертный зал.

Дверь колокольни, легче тени,
ему открылась. Не для всех.
Крутые, как года, ступени
вели наверх, наверх, наверх…

Но распрямилась вся сутулость,
когда, перешагнув предел,
он ощутил, что все вернулось.
И, показалось, полетел.

И билась тонкая фигурка,
так высока, как никогда.
И голос колокола гулкий
назад отсчитывал года.

И медь звенела о разлуке,
прощаясь и прощая всех.
И тонко жаловались звуки
на жизнь, слепую от прорех.

И выше – ничего не будет,
лишь с неба – мерзлая крупа.
А там, внизу, стояли люди.
Я помню – люди. Не толпа.

И память, мудрая копилка,
хранит (отбросив всякий вздор)
и руки, в старческих прожилках,
и – детский – варежек узор…

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТИК

Билет трамвайный, синей птицей,
с ладони семечки клюет.
В нем – вереницей – единицы
сулят и счастье, и полет.

А рельса крен сулит удары.
Так, по-мужски, прикрыв собой,
"махнув" билет в вагоне старом,
со мной махнулся ты судьбой.

Моя – взлетала и носила.
То – птица ввысь, то – ком на дно.
Твоя... Я так и не спросила.
Все это было так давно.

ПАТЕФОННАЯ ИГЛА

Вместо сна – половина третьего.
В стенку ходики бьют. Набатом.
Говорят, родилась на Сретенье –
будет встречами жизнь богата.

И кружу по комнате долго я,
то очки забывая, то – мысли…
Это жизнь, патефонной иголкою,
соскочила с бороздки смысла.

А пластинки заезженной дети
нынче все – по далеким странам…
В этой комнате – я в ответе
за ее старомодную странность

и за всех, кого надо встретить мне
в доме выживших обещаний…
Не рожайте детей на Сретенье.
Больше встреч – это больше
прощаний.

11 ОКТЯБРЯ 1994 ГОДА

Отлет из Тбилиси

Здесь каждый колокола звук
напоминает чье-то имя.
Здесь, дважды, в реку из разлук
вошли, ничуть не став иными.

Все годы взлетов – в никуда,
квиток багажный не терялся,
в нем, кодом: жизнь, друзья, беда.
И улица, которой клялся...

Ну, крутанет на прежний круг
октябрь прощальную рулетку,
вертя нетрезвым жестом рук
судьбу, как взлетную конфетку.

Мы вновь вернемся. Зная то,
что колокол звонит устало...
И жизнь, прервавшись запятой,
продолжит фразу, как попало.

ДОМ НА СЛОМ

В его распятое окно
смотрю и пристально, и долго.
Там жизни терпкое вино
еще хранит резная полка,

там было шумно и тепло,
и вечно не хватало места,
сосед буянил за столом,
пока жена месила тесто...

Всех унесло. А дом – на слом.
Но, с первым звуком благовеста,
чуть всхлипнув, треснуло стекло.
Я думаю, что в знак протеста.

* * *

Замкнуло где-то от дождя…
Дошедший до последней точки,
свет сдался. "Так и будешь ждать?"–
мне чиркнет спичка-одиночка.

Причина, в общем-то, пуста,
и не причина даже – повод:
повиноваться мне устал
в душе какой-то тонкий провод.

Он взбунтовался и провис,
он не дрожит, он не натянут.
Какой там океанский бриз –
и брызги с моря не достанут!

Он отвечал за смех и грусть,
а может, за любовь – не знаю.
Дождь. Электричества боюсь.
И проводок не починяю.

Пространство съежилось без света,
взяв за формат – квадрат окна.
Там раньше светом билось лето,
и солнцем плавилась весна.

Мне жаль себя. И жаль пространства.
Но за окном, где льет вода –
монтер, свихнувшийся от пьянства,
упорно чинит провода.

* * *

Твой поворот, и минарет.
Гордыня врет себе во вред,
и слово бьет – сплеча, в осколки.
Восток поет в печальном шелке…
Остановить бы ту печаль,
остаться на крутой брусчатке…
В стаканах винных – горький чай.
В судьбе – Майдана отпечатки.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЧАША

Ладони в чашу опустив,
впитала, до последней клетки,
изгиб теней, родные метки
и мостовых кривых извив,
еды и лавок запах едкий

и воздух. Где – вопрос немой:
"Сейчас покой. Что будет завтра?"
Как скажет строгий твой соавтор,
включая свет, пугая тьмой...
Дразня – то чашей, то сумой.

МИНУТНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Мы выпали из жизни как-то вдруг.
Хотя казалось – все еще на месте…
И сладко лгал восточных вин
бурдюк,
и липким был в своей привычной
лести.

Он умолял: " Ты только сбереги,
не отрекись... смотри – какое небо,
твой детский шаг у берега реки –
вот драгоценность. Остальное –
небыль ".

И двадцать лет, упрямых двадцать лет,
как нищий – в торбу прятала приметы:
морщинки этих улиц, лиц, легенд...
И пазл сложился. Только нас там нету.

КАРТИНА МАСЛОМ

А в нашей нарисованной стране
опять меняют цветовые гаммы:
один мазок – и стерли юность мамы,
второй мазок – прицелились по мне.

А в нашей нарисованной стране,
где жарко сплетены тона и краски,
и в юном, цвета кизила, вине –
стальной оттенок грозовой развязки.

А в нашей нарисованной стране
все чаще – черный цвет и лица вдовьи.
Как в древности, на том же полотне –
крутой замес из "крови" и "любови".

А в нашей нарисованной стране...
Отцвел миндаль. Художники во сне
витийствуют, с царями наравне...
Форель молчит в прохладной глубине.

* * *

Я тебя поднимаю. Я тебя понимаю,
с неразборчивых слов отпечатки
снимаю.
И сплетение рук неразрывней
и крепче –
онемевшим кольцом на затекшем
предплечье.

Так когда-то, часами, чтоб – воздух
с веранды,
нянчил ты на руках мою корь,
мои гланды.
И, горячим колечком со спутанной
речью,
я спала на твоем онемевшем
предплечье.

ТБИЛИССКИЙ ПОДВАЛЬЧИК

Одноклассникам

Под сводами старинной кладки
ни тени фальши. Звуки тише…
Поводья сброшены. И сладко,
и бесшабашно время дышит.
И мы – страницы из тетрадки,
где фальши нет. Поверь, бывает.
Смешные жесты и повадки –
единый взмах единой стаи.

Но, как тетрадь ни берегу я,
листы все чаще убывают.
Закладки памяти воруя,
нам жизнь из прошлого кивает.
И лупит влет. И нет ответа –
не наваждение ли это?
Взлетают души из рассвета,
как одуванчики из лета...

А нас пока спасают своды –
крылом, взметнувшимся отвесно.
Над тем столом, где в непогоду
еще нам, слава Богу, тесно.

* * *

Летящий вереском – Нисан!
"Тот не поймет, кто в рабстве
не был…"
Теперь ты все решаешь сам,
но посмотри – какое небо!

Не задохнуться бы ветвям,
из сини черпающим силы…
И лист – из почки – как слова:
"Свободен! За тебя – просили".

ПРОЗА

Олег Мчедлишвили

ЗА ЗАБОРОМ

Вокруг пестрели дома, красные, синие, зелёные… И на спасшихся от деревьев местах тротуаров солнце забирало в фокус мой зрачок, заставляя его сузиться, прикрыться одеялом время от времени подпрыгивающего века, рисуя уже на тёмном экране разноцветные полосы, круги, падающие метеориты. День казался, благодаря солнцу, неотъемлемой частью вечности, созданной мной за века, во многих поколениях этого огромного живого мира, вырисовываясь в новых лакированных туфлях и достаточно приятном старом пиджаке.

День только начинался, а тут, за стенами большого, длинного забора, уже веяло сумерками, не только для меня, но и для всех, кто здесь живёт месяцами, годами, а иногда и вечно.

Вот ещё один метеорит сорвался с верхнего угла глаза, полетел вниз, в заросли высокой травы. Луна, одиноко висящая, слегка качалась где-то в глубине синего неба, оставляя после себя толстую жёлтую линию, которая, появляясь то справа, то слева, заставляет всего на несколько секунд забыть о единственном в этой пустоте пришельце, рухнувшем в траву, а может, пролетевшем мимо.

Там, за этой высокой травой, если идти прямо, есть маленький-маленький зелёный бугор, который опускается вниз настоящим огромным пестрым ковром колокольчиков, колючек, огоньков из розового клевера и возвышающегося тысячелистника. И вся эта красота падает вниз, в огромный обрыв, поднимаясь вверх уже лесом, который из-за бесконечности и обилия лужаек невольно населяешь людьми-путешественниками… А горизонт говорит о смысле, смысле твоего нахождения здесь, наделяя тебя покоем и лёгкой сонливостью.

Всё это можно было бы увидеть, если бы внутри глаза не маячила эта качающаяся луна, а хотя бы раз возник солнечный день. Да и вообще, сколько красивого вокруг, только мы этого не видим, потому что нет вокруг покоя и умиротворённости.

День всё стоит в той же фазе, за длинным забором слышен гул моторов, и где-то справа, совсем рядом, мать зовёт сына. Раз, два, три… Зовёт уже долго… Где-то происходит интереснейшая игра. Футбол, война, выбивалки – всё что угодно может произойти там… Там, где расчерчены поля, уже асфальт, и деревья поднялись в сторону от домов метра на три. А может быть, насадили кустов? Расширили улицы, и на автомобилях другие номера, и им не приходится светить фарами даже ночью, потому что ночью так хорошо, что люди ходят пешком. Интересно, сколько там аттракционов, кинотеатров и ночных рейсов? Люди делают открытия каждую секунду, но ведут летоисчисление годами. А в году? Сколько секунд в году? Сколько открытий? Не удивительно, что в этой суматохе и одно нельзя запомнить. Оно сразу бесследно стирается тут же возникающим другим, а то в свою очередь третьим – так и получается расхождение во времени: год, век, секунда – время пожирает само себя, заплатив за эту войну в среднем 60 – 70 лет. И нам ничего не остаётся делать, как убегать, убегать от него. Чувство, разум, эмоции – всё это возникает в противовес часам и минутам. Человек восстаёт против уготованного ему временем, и потому чего здесь удивляться мальчику, который не идёт к маме, он тоже борется с положенным ему – спать, есть, собираться в гости…

Ну вот, очередной интеллектуальный пассаж закончился, можно идти спать. Всё, о чём мне думалось только что, уже начинает терять контуры, превращаясь в одну большую каплю человеческой желчи, которая поставит меня в будущем в оппозицию ко всему вышесказанному. И вот как раз на этой основе сон, как обычно, получается спокойный и длительный.

На болотного цвета линолеуме кто-то вычерчивал крестики. Каждый крестик – это человеческая жизнь. Их так много до конца коридора, что пересчитать и отличить один от другого не хватит и жизни. Только по бокам плинтуса беспощадно обрываются жизни многих из них по чьей-то жестокой воле (видимо, мастера), уродуя, отрезая им половины, а то и три четверти, заставляя меня только догадываться об их первоначальном виде. Кто знает, какие судьбы остались нами незамеченными.

Хорошо проспаться ночью. Мозг успевает отдохнуть. Тишина. Но за окном слышны шорохи. Под летним одеялом тепло, и кажется, что за окном зима. Снег хрустит, и тихо настраивает мысли ветер. И неизвестно, что более реально – лето, которое было утром, или зима, которая возникает ночью. Одно приятно, что здесь твой дом, твоя постель и кусок хлеба. Женщины посещают меня каждую ночь. Им хорошо со мной, ведь память лучшее, что создано Богом. К чёрту реальность, вокруг неё холодный воздух, а сама она окисляется, оставляя неприятный вкус на языке. Вкус железа на языке ничем хорошим не кончается. Язык мой – враг мой, к чёрту реальность. К чёрту женщин, из-за которых не можешь оклематься. Всё кажется, что можно было сделать лучше… А лучше быть не может! Для лучшего – есть завтра. И женщины прощают тебя… Как приятно! Как хорошо, что они никуда не уйдут. Женщины… С ними нужно жить на острове. Сколько счастья, сколько неги могут они подарить, если не пустить на этот остров соперника. Какое вдохновение рождает женская улыбка?!... О, предел плотских желаний!

Мне хочется заснуть, чтоб поскорее попасть в завтра – там наверняка какие-нибудь новости. Предчувствие того, что что-то ждёт, плюс надвигающийся сон… Не это ли то самое, к чему я, наконец, пришёл. Обретение… Всё время что-то обретать… И не сглазить. Спать.

Сон повторяет увиденное мной за всё время жизни, иногда придавая людям их настоящие черты. В моих снах люди всегда лучше, чем в жизни. Вот и сейчас отъявленный мерзавец, на босу ногу, в военных штанах, открывает мне гараж, чтобы спрятать от преследования. Сколько таких людей, отравляющих тебе жизнь даже тем, что дышат с тобой одним воздухом, приходят во сне, чтоб спасти от различных ситуаций. А фантазия… Фантазия работает так, что они становятся просто необходимы. И утром трудно держать на кого-то зло, потому что ты слабеешь с каждым днём, не зная, кто тебе друг, а кто враг, приходя к тому, что нет ни тех, ни других.

Ночь проходит, уступая место утру, и первые лучи, преждевременно выбегающие из-за моего неизвестного горизонта, радуют меня новым днём, полным неожиданностей и радости.

Я тихо, будто бы не один, очень осторожно, засовываю в тапочки холодные пальцы. Выхожу в коридор и иду, ориентируясь по окнам и теням, к двери. Мои крестики не видны мне, но они, несомненно, знают, что я вот иду к двери, и провожают меня навстречу новому дню. Прощание с крестиками завершилось холодной дверной ручкой. Дверь распахнулась, и зима, как я и ожидал, стояла на улице. Летел крупный снег и ложился на каменный порог нескончаемыми хлопьями. Мне стало приятно и грустно. Что же получилось? Я заснул летом, а проснулся… Всё это напомнило мне детство, и пошёл я туда, дальше, к лавкам, к забору, к беседке, где можно было бы посидеть, насладиться всей этой красотой. Холод не дотрагивался до меня. Входя в эту одинокую беседку, бережно читая молитву, я вспомнил всех, кто был со мной. В закономерность чуду, происходящему со мной, исчез и забор. И вероятно там, за этими белыми точками снега, появился горизонт, и качающаяся луна остановилась, чтобы уступить себя солнцу. А я только сидел в беседке и ждал нового дня.

Из новых переводов

Дато Канчашвили

* * *

Прекрасные незнакомцы,
Выглядывающие
из-за наших спин,
маячащие на заднем плане,
нахально вселившиеся в мои собственные
фотографии...
Вам этого мало?
Вы еще и мелькаете в уличной толпе,
Дразните меня своими лицами,
Заставляя мучительно вспоминать,
Где, где, ну где же я их видел?

Но, кто знает, возможно,
что и мы сами тоже –
прекрасные незнакомцы,
маячащие на заднем плане
чужих фотографий,
пойманные
в мышеловку альбома.

Это – единственное объяснение
тому, что мне
так неуютно жить в этом мире,
похожем на захлопнувшийся альбом.
Тому, что все вокруг
смотрят на меня с неприязнью,
как на незваного гостя.
И тому, что тебе никак не понять меня –
странноватого (по твоим меркам).

Так значит, мы с тобой
живем в параллельных мирах.
И мы друг для друга –
случайно попавшие в кадр
прекрасные незнакомцы
в глубине фотографий.
Может, случайно видим друг друга в толпе
и мучительно вспоминаем,
где, где, ну где же
мы могли встречаться?

Наши миры –
два соседних альбома
на полке.

Не пугайся, если странный тип
однажды ухватит тебя за рукав
и станет доказывать,
что ты должна его помнить,
и что он явственно видел во сне
тебя, заблудившуюся
среди его фотографий,
отпечатанных
с негатива
именно этого сна.

МАЛЫШИ

Какими чудесными
малышами
мы были,
не доросшими еще
до радости первого поцелуя,
за волосы дернуть –
вот и вся ласка.

И вместо войны настоящей –
из игрушечных автоматов
расстреливали друг друга,
не понимая еще, что живем
на заброшенной свалке,
и, не понимая еще,
что такое побег,
скакали по кругу
на деревянных лошадках.

И кому бы пришло в голову
заронить в наши души
зерно сомнения,
заставить искать себя,
а не играть
в надоевшие прятки
друг с другом...

И кому бы пришло в голову
учить нас,
как расширить сознание,
как курить,
как напиваться
до отключки,
как говорить "нет",
когда все вокруг послушно кивают,
как трахаться без любви,
обрюхатить и бросить,
как правильно резать вены...

Мы были так ошеломляюще малы
для того, чтобы понять,
что мы еще слишком малы...

И вот, – е... вашу мать!
– Мы выросли...

ЛЕС

В том лесу, – ты не знаешь его прохлады, –
застучат топоры.
Принесешь домой стул, втащишь
массивные стол, кровать и тяжелый чан.
Каждый предмет выражает готовность
спрятать тебя в своем чреве
или разместиться у тебя на ладони.
Поединок с часами –
все бесконечнее этот отрезок жизни,
и чем чаще поглядываешь на стрелки –
тем длинней череда опозданий.

В том лесу, – ты не знаешь его прохлады, –
застучат топоры
в тот момент, когда твою постель
сотрясет биение двух сердец,
и ты войдешь в дом, держа в руках
второй стул и подыскивая взглядом
место для двуспальной кровати,
и циферблат на стене приноровится
измерять скорости ваших –
таких разных
– миров.

В том лесу, – ты не знаешь его прохлады, –
застучат топоры.
И вот ты входишь, прижимая к груди

нетронутые листы, на которых
грань между сном и явью
скоро потеряет четкость,
и ты вступишь в одноместный мир,
и застрянешь в нем безнадежно,
потому что внезапно вырастешь.
Пройдет полжизни, ты заметишь
в зеркале самого себя –
постаревшего, морщинистого, –
и заискивающе улыбнешься
циферблату, все еще
отмеряющему твой пульс,
и он станет следить
за каждым твоим шагом.

В том лесу, – ты не знаешь его прохлады, –
застучат топоры.
Пляшущие человечки смастерят тебе
дверь ,
чтобы ты ушел из этого мира,
хлопнув дверью,
погрузился в лоно земли и глубже.
И тогда можешь хлопать дверью
сколько угодно –
ведь в лесу, который вырубили из-за тебя,
ты не посадишь ни деревца.

Перевод ***Сусанны Арменян***

* * *

Пригуби пространство –
ощути его привкус.
Но губы бесчувственны...
Сквозь сургуч печати
просачиваются тонкие нити, –
это твое бескрылье полета.
Сидящая на берегу,
где-то между мной и волной.
Наматывает нити на тонкие пальцы.
Нити мыслей о доме,
доме, – разрушенном для чужого взора
Нити мыслей о смерти.
Нити множества причин...
Мысли о самом значимом сне,
где навсегда потерян будущий сын.
Все сидит она, – подобно
несгибаемому стволу возле дома.

Ты, дерево-лес,
подчиняешь величием взгляды.
За упругой нитью следуешь в детство.
Детство-подсолнух. Который всеми
изгибами девичьего стана
знает, что подрастая,
опускается
все ниже и ниже...

* * *

В моих фотографиях часто встречаются незнакомые образы-лица. Пребывая в них таинственным фоном. И, порой, странно проходят мимо по улице уже узнаваемые мною. Так я сближаюсь с призраками фотоснимков, за которые расплатился деньгами.

Кто знает, сколько раз служил я фоном чужим портретам. Расширяясь до твердой обложки уже узнающих меня фотоальбомов. Может, потому мне бывает так чуждо иное пространство, как и наши с тобой миры, отпечатанные с негатива пленки... Да, вопреки всем ловушкам памяти, мы видим друг друга в чужой перспективе...

Но, однажды, я случайно приду к тебе, узнаю и приму, чтобы высветить четким контуром дня твой силуэт из хаоса сновидений...

ДИТЯ-ЖИЗНЬ

Золотая рыбка –
бережно донесенная в легком пузыре надежды до дому –
Когда пространство столь прозрачно и беспредельно,
то не вмещаешься в него...

Жизнь-череда –
Ты вступаешь в нее,
поскольку немереная она...
И что достанется каждому, не знаешь...
и достанется ли...

Дом-сосуд
С душистыми маслами,
в котором живет тело твое –
аромат его дано обонять абсолютно всем,
кроме тебя самого.

Любовь – маковая начинка,
поглощаемая в доли секунды,
но крохи ее проносишь в теплой ладони
сквозь версты жизни.

И когда разрываешь зубами пузырь надежды
и впечатываешься в камень дорожный
всеми своими плавниками, дабы научиться ходить –
И когда, вырванный из очереди,
обезумевший, заново примыкаешь
к ее концу,
И когда впервые
чувствуешь запах собственного тела,
И когда в теплой ладони
пронесенные маковинки сыплешь
в светлую обитель несмышленышу,
Вот, только тогда и снисходит благословение
для новой жизни.

РЫБОЛОВ

Там, где рассыпается воля на мириады частиц, наша значимость – всего лишь иллюзия одного рыбака, живущего в обратной перспективе.

Полдень. Лодка мерно покачивается на пульсирующей ладони светила. Ловец рыб, вскормленных водорослями-сетями, незаметно втягивает улов в свое чрево.

В странном городе женщины перенимают кокетство живущих в иной перспективе. И мужьям непонятно, что привлекает их в женах-харонах. Это равенство не тождественно совершенной таблице Пифагора – по сути, лишь результат уравнения сложных переплетений. Ловец навевает на город угар искаженных аллюзий. И тут поневоле наши стержни дробятся на мириады инородных тел.

Только реальность моя застывает в глубоком сознании рыболова...

Когда полдень медитирует, представляя лодку на пульсирующей ладони светила – распутываются сети, латаются раны, сшиваются иллюзии...

Только одно сознание рыбака ожидает возвращения перспективы...

Вольный перевод ***Ады Джилавдаровой***

VERY LOOSE

КАК МЫ СПОРИЛИ ПРО КНИЖКУ ОЛЕГА ЗОБЕРНА "ШЫРЬ"

ЕСЛИ верить Википедии, – Олег Владимирович Зоберн родился в 1980г., в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. В 2007 году книга "Тихий Иерихон" (рассказы) опубликована в России и переведена на голландский язык. В Нидерландах книга издана раньше, чем в России. В 2010 году на русском языке опубликована книга рассказов "Шырь". Рассказы Зоберна печатались в журналах "Новый мир", "Октябрь", "Знамя", "Esquire", "Дружба народов", "Нева", "Сибирские огни", "Север", "Дон", "Passionate" (Нидерланды), "Yang" (Бельгия) и др., в коллективных сборниках. Лауреат независимой литературной премии "Дебют" 2004 года.

Книжка "ШЫРЬ" была вручена в дар лито "Молот О.К." самим автором. Как оказалось, у всех сложились разные мнения по поводу этого сборника рассказов. Когда на очередном занятии возник и начал развиваться в неизвестном направлении яростный спор о том, хороший или плохой писатель Зоберн, еще не читавшие (возжелав немедленно убедиться самолично, какой он, этот Зоберн), потребовали книжку себе и включились в дискуссию. Мы решили отобразить на бумаге основные тезисы этих споров, показавшиеся нам довольно интересными. При всей кажущейся серьезности, приведенные ниже мнения не претендуют на академичность, объективность или другие канонические категории.

Сусанна АРМЕНЯН

ЧЕШЫРЬСКАЯ УЛЫБКА

НИКОГДА не читаю с первой страницы – и все подряд до конца. Самое интересное может попасться в конце или ближе к концу, так что я по-восточному, справа налево просматривала свежие "Литературку", "Вокруг света" и "Знание – сила" . То же и с любой книжкой: пока не засуну нос в конец или куданибудь в золотое сечение, где правила помещают кульминацию – не успокоюсь.

"Шырь" же начала читать с первого рассказа, про православную лесбиянку ("Девки не ждут"). Он слегка насторожил – не темой, а чем-то таким, просвечивающим из глубины и дразнящимся: "А, думаешь все поняла и все заметила? Нетушки!". Так, наверное, насторожилась Алиса, когда Чеширский кот стал исчезать и появляться по частям.

Че*ШЫРЬ*ская улыбка на обложке тоже на что-то намекала, даже вроде бы подмигивала (в той степени, в какой улыбка может подмигивать). Что? Выпей меня? Пожалуйста, видали мы говорящие пузырьки! И я поехала дальше. И на "Шестой дорожке Бреговича" опять зависла, как Алиса перед грибом, который откусишь с одной стороны – уменьшишься, с другой – увеличишься. Отломив с обеих сторон по куску, она задумалась – какой же из них какой? Кто ты, думала я, зависая, О.Зоберн – гуманист или циник? Может, и то и другое? Может, в наше время честный гуманист может быть только циником? Или вообще гуманизм без кривлянья, заигрывания и лицемерия очень похож на цинизм?

Отпущенный на свободу пес Иван Денисович – какой-то символ? Какой? Под этот ИКС можно подставлять какие-то значения или он имеет только одно, не понятое мной значение?

Поразмышляв, я пришла к нескольким выводам.

Первое: хорошо уже то, что я не бросаю "ШЫРЬ" вдаль и не закатываю глаза, восклицая "Фу, фу, бяка!"

Второе: хорошо и то, что я не прижимаю "ШЫРЬ" к груди и не закатываю глаза, восклицая "О, прелестно, прелестно!"

Третье: также хорошо уже то, что мне пришлось размышлять.

Четвертое: под иксы, игреки и другие переменные в "ШЫРИ" можно подставлять любые значения, приходящие на ум в результате этих размышлений. Все они будут верные.

Пятое: надо читать дальше.

Ну, дальше я уже действовала своим любимым методом случайного тыка (он называется "Метод Монте-Карло" и считается очень действенным). Читая рассказы без всякой системы, я ощутила несколько видов неожиданной радости. Сейчас объясню, что это за виды такие.

РАДОСТЬ УЗНАВАНИЯ.

Подозрительная ассоциация с названием совсем другой книжки ("Кысь") оправдалась в рассказе "Шырь" (ощущение птичьих когтистых лап под столом). Еще примешались, конечно, Бидструповские наследнички, у постели умирающего старика превращающиеся в стервятников, но это побочные эффекты сознания. Пронзительный рассказ "Тихий Иерихон" вызвал в памяти в первую очередь – нет, не Пелевина, – а другое: поэтапное ускоренное старение в "Космической одиссее" С.Кубрика.

А в ответ на пелевинский "Хрустальный мир" (т.е. на вопрос, оставшийся вопросом – что было бы, если б Георгий-Юрий не пропустил Дракона-Ленина через свой пост), Зоберн показывает: а вот что! Нравится? ("Провал"). Да, провалился он в полынью в Финском заливе. И? И все. Остальное думайте сами.

Список кораблей ("Тризна по Яну Волкерсу") Зоберн зачитывает до конца, не только объясняя это в специальной ссылке (неприлично, мол, не дочитывать до конца соборный текст), но и вклинивая в ряд пестрых названий два, придуманных им для кораблей, чьи названия не разглядеть – "OSIP" и "MANDELSHTAM".

РАДОСТЬ ПОЗНАВАНИЯ.

Не вдаваясь в подробности. Зоберна надо давать читать для возбуждения интереса к литературе вообще. Упоминаемые у него авторы – знакомые или не очень знакомые, или вообще незнакомые – упомянуты так, что цепляют. Настолько цепляют, что незнакомых хочется найти в интернете и тут же прочитать, а знакомых перечитать и, в случае нелюбимости – полюбить.

РАДОСТЬ ОБМАНА ОЖИДАНИЯ.

Во многих рассказах нет развязки, концовка определяется только отсутствием дальнейшего текста. Это похоже на зарисовку, этюд. Даже, (соглашусь с громившими Зоберна на Молотковском собрании) действительно, похоже на выхваченный из реальности случайный фотокадр. К тому же сам обман ожидания – "что-то должно произойти, но не происходит" – это вполне реальность! (Любимый пример – "Сияние" того же Кубрика, где самая жуть накатывает, когда мальчик просто катается на трехколесном велосипеде по пустым коридорам отеля).

Здесь же не только отсутствие конкретной развязки, но и двойное, тройное прочтение, невозможность сразу определить – положителен ли персонаж, отрицателен ли он или все гораздо сложнее? А вредный автор ничего не объясняет, не дает никакой оценки, предоставляя бедному читателю решать все самому. Хотя, почему бедному – шевелить мозгой очень даже полезно, хватит, разленился перед телеком, отупел. Думай.

ЕЩЕ ОДНА радость – это язык автора. Он владеет русским языком виртуозно и во всех его проявлениях и стилях.

НА МОЙ ВЗГЛЯД, Зоберн осуществляет синтез лучшего, на его взгляд (и он вряд ли ошибается), что есть в русской литературе, по принципу "правильных влияний" (как выразился тогда еще живой Вознесенский о тогда еще тощем Гребенщикове). И как выражались другие – о группах "Наутилус Помпилиус" и "Сплин", впитавших в свое творчество достижения рок-дедушек и рок-пап.

Многослойность восприятия присутствует везде – и поток сознания может при втором прочтении оказаться исповедью, молитва – самоанализом, вполне реальная зарисовка – зашифрованным памфлетом, гротеск – гражданской лирикой в прозе.

И ВОТ я решила назвать эти рассказы лирическим реализмом. Я назвала их до того, как наткнулась на "образ автора", который Олег Зоберн пустил самостоятельно гулять в паре рассказов. Мне достаточно было встретить "Олежу". "Олежа" – это, конечно же, никакой не Эдичка и не Веничка. Это обычный лирический герой, иногда отстраненный, иногда зацикленный на себе, сдержанный, но – никогда не равнодушный. Рассказы сборника – реальность, сфокусированная посредством души отдельно взятого автора (или его лирического героя, как кому угодно).

И вот еще что – че*ШЫРЬ*ская улыбка на обложке не такая уж и веселая. Хотя она многое может объяснить тому, кто что-то недопонял в книге.

P.S.

В этом сборнике три рассказа мне кажутся наиболее важными. Их даже можно – условно – распределить по временам: настоящее, прошлое и будущее.

Первый рассказ – это "Шырь", памфлет-приговор настоящему в форме как бы записанного по памяти интервью. Очень лаконично, четко и по-журналистски прямо. Случайная мысль: а вдруг именно журналистика призвана дать литературе необходимый для дальнейшего развития импульс?

Второй рассказ – "Тихий Иерихон", который тянет на реквием и глубоко человечен, как тайно практикуемая эфтаназия. Может, действительно, не стоит прощаться со своим прошлым, смеясь или плюясь, или бросаясь проклятиями, банановой кожурой и прочим kal-ом?

Третий рассказ – "Шестая дорожка Бреговича", где автор делает маленький, но так необходимый для всего человечества (а, может, литературы? а, может, еще для чего-то там) шаг: он освобождает Ивана Денисовича. И это действие – как отпущение всех грехов. Чтобы глаза Ивана Денисовича не глядели из шубы. И чтобы Фриде больше не подкладывали платок.

Ада ДЖИЛАВДАРОВА

НАШ ПОРОСЕНОЧЕК

(Это интервью взято Сусанной Арменян у Ады Джилавдаровой совершенно случайно, без всякой подготовки, в процессе внепланового домашнего обсуждения книги О.Зоберна "Шырь", и вообще до пятого или шестого вопроса воспринималось, как шутка. Диктофон не включался, по причине его неимения, и С.Арменян использовала блокнот и шариковую ручку, так что за точность записей несет ответственность именно блокнот.)

– Давай начнем со "Ступни", как я понимаю – это чуть ли не единственное, что тебе показалось стоящим...

– "Ступня" – первый рассказ, привлекший мое внимание в этом сборнике. Это, по-моему, попытка автора взглянуть на себя со стороны. При этом получается, что автор считает себя человеком особым, не понятым самим собой.

Для меня "Ступня" – рассказ, который отличается тем, что там как раз нащупывается нечто, чего в остальных рассказах как бы и нет. Мне понравилось, что автор определился со стилем, например, вводит в повествование элементы абсурда.

– Ты имеешь в виду его провалы из размышлений в сон с камышами и берегами?

– Да, но не только. Скажем, мне понравилась композиция, в данном случае она как бы коллажная, разностилевая – тут и реализм, и гиперреализм, и абсурд, и поток сознания. Если принять стиль в некотором смысле формой, то получается, что отсутствие содержания заменяется сложной конструкцией из различных форм. То есть, возможно, это тот случай, когда форма становится содержанием. Но это – давно известный всем прием...

Знаешь, в чем проблема? Эта книжка была "распиарена" на Молотке, и поэтому привлекла мое внимание. И мое завышенное ожидание чего-то особенного натолкнулось на нечто пресное... Сейчас поясню. Возьмем первый рассказ –"Девки не ждут" – из всего рассказа стоит внимания, на мой взгляд, только одна деталь, когда героиня достает из кармана черного платья стаканчик и наливает в него водку. Это раскалывает композицию на два разностилевых куска: на реализм и почти гоголевскую фантастику. Эта деталь важна, но она не является основой, центром композиции, поэтому не выполняет своего предназначения. Композиционный центр смещен, загнан куда-то в угол. Его надо было бы развить, – не знаю, как, это дело автора,– но автор не сделал на него ставку. Поэтому рассказ считаю не совсем состоявшимся.

– А может, автор специально использует этот прием – смещает центр композиции, лишает рассказ развязки, конца?

– У него и начала нет... Возможно, автор пытался, да... Но у него не получается. Не получается прыгнуть выше самого себя. А не получается, возможно, потому, что он это делает *ОТ УМА*, сознательно. Если б он это делал подсознательно, то вряд ли ему это бы не удалось. Автор производит впечатление хорошо информированного, начитанного, владеющего языком человека, и, во многом, именно эти знания мешают ему. Он знает *ШТУЧКИ*, но не использует их в полную силу.

– Не освобождает их?

– Да. Он владеет этими *ШТУЧКАМИ*, знает эти секреты, но, *ИЗОЩРЯЯСЬ*, он упускает главное... Может, ему не хватает самобытности.

– В каком смысле?

– Он знает, какие из известных ему приемов может использовать в конкретных случаях. Но он не делает этого так, как бы никто, кроме него, не сделал. Я ищу в нем его самого, что-то новое – но не могу найти...

– Помнишь, когда мы обсуждали Зоберна на "Молотке", ты упоминала эффект мыльницы, говоря о том, что автор как бы ходит и бездумно щелкает фотоаппаратом?

– Ну, вот, к примеру, рассказ "Оно не конем" – от него остается впечатление какого-то скучного пейзажа, какого-то невнятного водоема с надувной лодкой, в которой вместе с персонажем почему-то присутствует и автор. И неясно, почему... Что это за картина такая? Почему там автор? Он просто знает, что надо где-то в своих произведениях присутствовать, что надо делать коллаж, искажать композицию... А что дальше? Этот автор представляется мне каким-то эклектичным персонажем, у которого, как прыщи, выскакивают его *ИНТЕРЕСНОСТИ*, но развиваться, вырасти он им не дает. И вот он ходит, обсыпаный своими *ИНТЕРЕСНОСТЯМИ*, как какой-то неколючий надувной ежик...

– Раз уж заговорили о животных, – возьмем, к примеру, "Шестую дорожку Бреговича". А точнее – собаку по имени Иван Денисович. Как ты думаешь, как можно расшифровать этот персонаж?

– "Шестая дорожка..." мне почему-то напомнила "Шинель" Гоголя. Этот пес – несчастное существо, конечно же, человек в образе пса, неприкаянная русская душа...

– Ну, а этот-то рассказ удался?

– На мой взгляд, удался только "Мой поросеночек". Там автор как бы подводит черту под самим собой. Доказывает: то, что он пишет, – все эти попытки, *ШТУЧКИ*,– это все только его привычка *МЯТЬ САЛФЕТКИ*.

– То есть автор на самом деле просто МНЕТ САЛФЕТКИ?

– На самом деле, я считаю этот рассказ самым интересным, почти гениальным. Помимо этого, это формула его творчества, написанная им самим. Он признается, что пытается прыгнуть выше себя, что пишет, – и не знает, зачем, что создает суррогат, видимость. Но в смелости – и в потенциале – ему не откажешь. Общее впечатление таково: он очень уверен в себе. Вкус, конечно, у него есть, – но наличие хорошего вкуса не означает автоматически, что ты можешь быть писателем, художником. Интересно другое: *НЕЧТО*, которое наряду со всем вышеперечисленным, незаметно проявляется. Я бы назвала это симулякром...

– Что ты этим хочешь сказать?

– В данном случае, симулякр – та копия копии, которая, гипотетически, может стать интереснее оригинала.

– Может, напоследок все же скажешь об авторе что-нибудь приятное? А то ты его совсем разгромила...

– Пожалуйста: его плюс – это прекрасное владение русским языком. Да, и еще, если в дальнейшем в творчестве автора "симулякровая" литература станет знаковой, это будет настоящим успехом!

(дальше беседа протекала в русле, далеком от рассказов О.Зоберна и от литературы вообще, так что вам это совсем не интересно)

Ирина ДАНЕЛИЯ

Когда-то, прочитав в один присест "Один день Ивана Денисовича" (что мы тогда знали о Солженицыне?), я воскликнула – "Вот он, продолжатель гуманистической традиции Достоевского!". Так нас учили в школе – гуманизм превыше всего!

Прошло время, и пришло время, время открытия Довлатова. "Зона" сделала меня абсолютно счастливой (увы! сегодня она не сияет и в половину того накала – проверяла!). И я воскликнула – "Вот он, продолжатель гуманистической традиции Достоевского! Слава богу, он пришел!"

Приоритеты мои в литературе не изменились.

Сегодня, когда я уже не читатель (то ли в реале достаточно драматизма, то ли просто – перенасыщенный раствор!), в руки все же попадает беленькая книжечка небольшого формата – Олег Зоберн, "Шырь". И я, как старый боевой конь, прядя ушами и бия копытами, стараюсь рассказать вам, друзья мои, о том впечатлении, что заставило меня здесь писать, восклицаю – (догадываетесь?) – "Вот он, продолжатель великой гуманистической традиции Достоевского!"

И восходит солнце...

Олег Зоберн

ТВОЙ ПОРОСЕНОЧЕК

Пристрастился мять салфетки в заведениях. Сижу где-нибудь с кем-нибудь, пью кофе, иной раз вино (игристое брют), ем и – мну салфетки, превращая их в бесформенные комочки. И не могу остановиться: мну и мну, и получаю от данного процесса такое удовольствие, что его можно назвать эротическим. По этой причине в кафе "Буря в стакане" на Кузнецком мосту официанты стали как бы играючи, ненавязчиво отодвигать от меня подставки с салфетками. Я придвигал их обратно и продолжал мять, переминая все до единой. Тогда официанты вообще прекратили ставить салфетки на стол, за которым я люблю сидеть. В общем, это ничего, все это легко переживаемо, но вот какая вырисовывается проблема: если я когда-нибудь совершу в кафе преступление (допустим, оставлю за собой гору трупов), то меня моментально найдет даже совсем молодой, зеленый, неопытный сыщик, так как на месте преступления почти наверняка будет валяться множество намятых мной салфеток. И что я после этого скажу моему богу? Что я вымолвлю? Какие слова загробный сквозняк сорвет с моих обветренных губ, когда я в новой черной футболке с надписью "исхода нет" подниму правую руку, приветствуя бога? Я скажу: "Господи, вот он я, твой поросеночек, стою перед тобой в этот прекрасный день, и я по уши в крови". Согласитесь, завидовать тут нечему. Так что я, наверно, буду бороться с собой и прекращу мять салфетки. Ну или в крайнем случае буду мять в меру. Немного помну и заставлю себя опомниться, пройдет какое-то время, кто-то за это время станет ближе ко мне, кто-то от меня отдалится, дворник несколько сотен раз уберет рано утром мусор, оставшийся с ночи перед кафе на Кузнецком мосту, кто-то кого-то предаст, кто-то даже закрутит с кем-то порочную любовь, в какой-то момент, может быть, даже свет ненадолго сойдется клином, просто сойдется и всё, люди будут продолжать стареть (господи, пользуясь случаем, напоминаю тебе, что ты зря придумал старость, ну не притерпелся я к этому, у меня от этих миллиардов старостей горячка случается, а оттого, что близкие люди тяжело болеют и потом мрут как мухи, я вообще не могу в себя прийти годами, каждое утро просыпаюсь и начинаю приходить в себя, прихожу и никак не могу прийти, и ноги сами несут меня по кофейням мять салфетки, а мое тело при этом – священный сосуд, священный сосуд!) – так вот, мы остановились перед той первой скобкой – на перечислении: люди будут стареть, пройдет какое-то продолжительное время, человечество породит еще несколько опасных вирусов, московские паранойки не раз успеют отчетливо разглядеть в тучах над городом черты своих палачей, особняки в историческом центре осядут еще на долю миллиметра, в государствах Африки начнутся и закончатся две-три войны, а я за все эти серые деньки не сомну ни одной салфетки, потому что научусь вовремя останавливаться, и мир не рухнет, не случится никакого депрессивного отходняка, как от колумбийского кокаина, – его, этого невероятного кокаина, в Москве, господи, появилось последнее время очень много, не то чтобы на каждом углу ко мне пристают негры с предложением купить, как в Амстердаме, но есть такая тенденция, это просто "к сведению", это вообще не жалоба, я не собираюсь распускать сопли и донимать тебя подобными бесцельными, пустыми заметками, я о другом, я говорю, что буду работать над собой, и времени от одного приступа салфеткомятия до другого будет проходить больше, и мир не рухнет, никто не согнется пополам от удара ногой в пах, часовой механизм не будет нарушен, заговоренный амулет по-прежнему будет висеть на моей шее, новые сандалии мои будут поскрипывать, современные деспоты и весельчаки будут нести мне по телевизору чушь, самые недоступные архивы услышат скрип моих сандалий, я вынесу на солнышко много интересных документов, буду продолжать торговать этими секретами: может быть, даже пристрою в какой-нибудь глянцевый журнал фото графини Толстой с обнаженной грудью, найденное в запаснике Дома-музея Максимилиана Волошина, 1915 год, она ничего, эта графиня, ничего такая – если честно, то я, господи, один раз даже вообразил, глядя на фотографию, что вступаю с графиней в интимную близость, как бы условно трахаю ее, абсолютно живую и трепещущую, ведь в этом что-то есть? Есть в этом некая романтика? Есть. Или же не надо продавать графиню в журнал, ведь нехорошо как-то: абсолютно чужой мне человек, а я покажу его голые сиськи нашим дорогим читателям. А с еще одной стороны, это даже получается измена с моей стороны, прости за тавтологию, вроде как сначала трахал ее, а потом вовсе – продал. Да и не складываются у меня отношения последнее время с глянцевыми журналами. В одном таком журнале, куда можно было пристроить графиню, узнали о моей национальности и перекрыли мне кислород, просто как обрезало, как будто упал некий древний топор, как будто что-то грустно аукнулось из глубины тысячелетий, пишу сейчас про тысячелетия, а у меня слезы на глазах, потому что, когда я немного прихожу в себя и начинаю формулировать мысли, мне все время хочется зарыдать, нет, не тупо зарыдать, а с чувством собственного достоинства, я же мужчина, я не какая-нибудь неграмотная дура из Малайзии, хотя какая разница, и в Малайзии все

стареют и мрут, так что ничего, ничего, совсем ничего, вот привязалось ко мне слово "ничего". Стало быть, узнали в редакции этого журнала всю правду, всю эту правду-матку, и теперь я у них в опале, не хотят больше покупать у меня фотографии, а нелюбить меня они начали с вранья, долго морочили голову, совершенно заморочили мне мою, страшно сказать, голову: дело дошло до коллективного разглядывания фотопортрета одного йоркширского терьера с фиолетовой печатью на брюшке. И вот он я, твой поросеночек, стою перед тобой. Все-таки надо принимать какие-то меры, как-то выстраивать отношения с реальностью. Салфетки, кстати, я не все люблю, а такие большие красные салфетищи, которые иногда раскладывают на фуршетных столах во время презентаций и открытий выставок, я вообще ненавижу, даже смотреть на них не могу, у меня от их вида сердце начинает колотиться неровно, а это неправильно, ведь люди продолжают активно умирать, и я тоже не могу не зависеть от своего тела. И насчет этой безымянной дурочки из Малайзии: я, пожалуй, зря написал, что она хуже меня и глупее, она, возможно, гораздо лучше меня, гораздо. А может быть, плюнуть, топнуть правой ногой по палубе этого беспутного корабля и продолжать мять салфетки, совсем распоясаться, ни в чем себе не отказывать и мять, мять, глядя правде в глаза? Какая вечность, нет никакой вечности, я не могу, господи, считать заведомой добродетелью разрушение сосудов головного мозга. Это можно, конечно, считать наркозом, но это дурной наркоз. Кстати, пока еще есть время, есть время, я должен сообщить, что заниматься онанизмом в гостях – это абсолютно нормально, мне тут рассказали на днях, что человек пришел в гости 7 марта 2010 года, муж и жена усадили его смотреть с ними эротический фильм, а он, человек, расстегнул ширинку, достал своего слоника и занялся онанизмом. Я сначала его осуждал в своей голове, я молча осуждал этот поступок, а затем меня вдруг осенило: ведь если рассматривать этот поступок как феномен, то есть очень пристально, то нет никакой разницы, где дрочить: в гостях, у себя дома, в здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, не важно, это пыль и мишура, это дрянная политика, господи, это фальшь, это нас отвлекает, это всех отвлекает, и вот он я, твой поросеночек, стою, поправь очки, ведь что мы можем знать вообще наверняка? Только то, что очки лучше всего протирать туалетной бумагой, что брют вкуснее полусладкого, что ты меня ждешь. Я приглашу тебя в одно кафе в Москве, там варят лучший американский кофе в городе, я встречу тебя в блаженно пустом переулке около Чистых прудов или в каком-нибудь иллюминированном предместье, положу тебе руку на плечо, и это не будет безвкусием и грязным приставанием, я просто положу свою левую руку на твое плечо, потому что мне легче так будет держаться на ногах, а потом пойдем. И вот он я, твой поросеночек, в этот прекрасный день стою перед тобой. И там будут милостивые официанты, там будет прорва бесплатных салфеток, там будет, повторяю, вдосталь мягких салфеток, и эта затея – угостить тебя лучшим американским кофе в городе – это не путь в никуда.

ШЕСТАЯ ДОРОЖКА БРЕГОВИЧА

Февраль, ночь, подмосковный поселок Лествино. Фары моей машины освещают Ивана Денисовича. Я сварил для него кастрюлю пельменей. Учуяв еду, Иван Денисович от радости принялся забегать в свою конуру, гремя цепью, и тут же выскакивать обратно.

Его глаза вспыхивают голодным зеленым огнем. Машина стоит с включенным двигателем, чтобы не разрядился аккумулятор. Вокруг безлюдно. Иду в свете фар с кастрюлей. На морозе от пельменей валит пар, и, не доходя до пса, я опускаю кастрюлю в снег: пусть еда остынет.

Хозяин Ивана Денисовича – мой сосед Андрюха – кормит его редко. В дом не пускает никогда, даже в сорокаградусную стужу. И постоянно держит его на цепи, потому что Иван Денисович может убежать.

Он рвется к кастрюле, тявкает. Наконец, пельмени охлаждены, и я подношу ему кастрюлю. Обхватив ее передними лапами, Иван Денисович жрет. То и дело он отрывается от пельменей и блаженно взглядывает на меня.

Кличку сосед ему дал общеизвестную и безродную: Мухтар. Иной раз я воображаю, что вокруг его будки натянута колючая проволока и стоят маленькие вышки. Этого, в общем, только и не хватает для превращения пространства между домом и сараем, где стоит будка, в одноместную собачью зону.

И я стал называть Ивана Денисовича Иваном Денисовичем. Как одного видного литературного узника. Он откликается.

Этой зимой я регулярно подкармливаю пса. Почти каждые выходные варю ему пельмени, макароны, балую рыбкой. Иван Денисович стал меня любить.

С хозяином его я почти не вижусь, потому что приезжаю из Москвы в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье, когда Андрей, человек пьющий, спит в угаре.

Андрей живет тут постоянно. Он немолод и одинок. Если, конечно, не считать Ивана Денисовича. Но нет, не мог же Андрюха по своей воле стать членом семьи заключенного и начальником лагеря одновременно. Не мог он так изощриться. И нет у него родственных чувств к Ивану Денисовичу.

Моя дача – на окраине поселка, здесь только частные дома, в основном летние, а на той стороне оврага – центр, там типовые серые пятиэтажки. Я приезжаю сюда работать. Здесь удобно: собрана большая библиотека, тихо. Привожу ноутбук.

Я пристрастил Ивана Денисовича к музыке. Точнее к одной композиции одного автора. На другие песни с этого диска он не реагирует. Как, впрочем, и на всю остальную музыку вообще.

Теперь он сыт и ждет развлечения. Я открываю багажник, чтобы лучше было слышно задние колонки и сабвуфер. Нахожу в бардачке диск Бреговича, вставляю его в магнитолу. Выбираю шестую песню, делаю погромче.

Вступление – соло на саксофоне, затем подключаются ударные. Великолепно аранжированная балканская тоска разливается вокруг. Брегович начинает петь. Иван Денисович в экстазе. Он катается по снегу возле будки и, кажется, подвывает. Как и в первый раз, осенью, когда я громко включил Бреговича возле дачи. Что происходит в его душе при звучании песни № 6, что заставляет кувыркаться и подвывать, я не знаю.

Диск с Бреговичем – лицензионный, запись несжатая. Каждая песня – отдельная полноценная дорожка.

В соседних домах сейчас никого нет, громкой музыкой я людей не потревожу.

Но вдруг терраса Андреева дома осветилась изнутри. И Андрей вышел на крыльцо – бледный, в майке и подштанниках. У него смертный зимний запой. Я думал, Брегович его не разбудит.

Выключаю музыку. Иван Денисович перестал кататься по снегу, сел и, высунув язык, уставился на хозяина.

Тихо. Слышно, как Иван Денисович часто дышит.

– Ты, урод, – сказал ему Андрей, – лезь в конуру.

Иван Денисович, гремя цепью, повиновался.

Андрюха повернул взъерошенную голову ко мне:

– Потуши фары, Христа ради! Сил никаких нету.

Я выключил свет, заглушил двигатель. Запер машину и пошел в дом.

Сегодня мне нужно подучить предмет под названием "Русская литература XX века", в среду буду принимать экзамен у первого курса. Дисциплина эта для меня тяжела, потому как близка, жизненна. Ведь чем дальше в века, тем проще, там все устаканилось, а тут – сидишь где-нибудь за кружкой пива с поэтом, который отметился в конце XX века, и непонятно: то ли он действительно хрестоматийный поэт, то ли жалкий жлоб, который на той неделе сломал нос своей юной жене.

А с покойниками – ясность и благодать. Поэтому, устроившись на кухне под лампой и включив ноутбук, я решил разделить писателей на живых и мертвых и начать с мертвых.

С половины второго ночи до трех я занимаюсь мертвыми поэтами. У меня солидный биографический словарь в электронном виде. Дело идет. Мертвые – они мне уже как родные: вот Тарковский, вот Пастернак. На могиле Пастернака так хорошо в октябре пить с какой-нибудь молодой поэтессой красный крымский портвейн. А если углубиться в это кладбище еще метров на двадцать, там в кустах – черное надгробие Тарковского. Возле него так хорошо в июле пить с какой-нибудь молодой поэтессой сухое белое вино.

Безмерная собачья благодарность духовно излилась на меня во время кормления Ивана Денисовича, и за ноутбук и книги я сел с по-особому окрепшей совестью, как советский фронтовик без высшего образования – на институтскую скамью после победы над фашистской Германией. Но из-за этого Иван Денисович постоянно вертелся в моем сознании, когда я запоминал тексты и биографии. Он безмолвно вступал в полемику с образами авторов, смущая их одним своим видом. Например, я представлял, как поэт Симонов в начале 60-х покупает в московском универмаге жене шубу, и вдруг в меху обнаруживаются два глаза Ивана Денисовича. В них нет ничего, кроме безудержного желания съесть дешевых пельменей из курятины, в глазах его нет осуждения, нет озлобленности, но все равно всем стыдно: поэту, его жене, продавцам. И мне, конечно, не по себе.

С трех до четырех часов я занимаюсь живыми поэтами. Иван Денисович вклинился и в живых. Поэтов Кенжеева и Кибирова я всегда воспринимаю в связке, как парапланеристов в тандеме; и вот - они летят над режимными объектами, им обоим одинаково безразлично то, что там, внизу, их облаивают шинельные иваны денисовичи, которые всерьез мешают только тем, кто идет по земле. Например, поэтам-деревенщикам: их сыновья служат в армии, их дочек соблазняют панки.

В четыре часа я подогреваю на сковороде докторскую колбасу. Запиваю ее крепким чаем. Теперь надо переключаться на прозаиков. С прозой легче. Почти никакого жизнетворчества. Будь хоть последней паскудой, на повести и романы это почти не влияет.

Лучшая повесть мертвого прозаика Владимова наводнена лютыми врагами Ивана Денисовича – собаками, служащими государству.

У живого прозаика Млечина взгляд псовый и скитальческий. Я виделся с ним недавно. Его томит жена, а уйти от нее некуда.

С прозой заканчиваю под утро. Надо отвлечься. Почитать что-нибудь нехудожественное.

Я привез с собой недавно подаренный мне новый литературный альманах. Но его я читать не буду. Он совсем плохой. Зачем привез, не знаю. В какой-то неистовой надежде на лучшую жизнь. Не люблю современные альманахи. Само слово это звучит мохнато и неприкаянно. Если бы не дарственная подпись мне от хорошего человека на титульном листе, я непременно пустил бы альманах на растопку.

Когда приезжаешь сюда в холода, надо протопить печь один раз, после чего тепло поддерживают электрические обогреватели.

Рассвело, пора ехать в Москву. Там отосплюсь.

Я кладу ноутбук в сумку, собираю книги. Обесточиваю дачу – щелкаю рубильником на стене в прихожей. Закрываю дверь. Завожу машину, прогреваю двигатель. Какая-то старуха идет мимо по улочке. Иван Денисович залаял на нее. На темном лице старухи – тоскливая озабоченность. Я стал думать об этой старухе. О том, пережила ли она своего старика, о том, как ее зовут, потом подумал о другом старике – писателе Солженицыне, отце самого главного Ивана Денисовича в литературе. Не так давно я хотел с ним встретиться, поговорить. Но узнал, что попасть к нему невозможно. Он постоянно живет за городом, никого не принимает. Я хотел пойти неофициальным путем, то есть перелезть через забор, пробраться в дом и потребовать у Солженицына благословения. Однако выяснилось, что дача эта охраняется, как зона, что на заборе колючая проволока, а внутри – сторожа... То есть Солженицын как бы добровольно сидит.

Мне стало жаль его, жаль всех отечественных сидельцев. Я вылез из машины и спустил Ивана Денисовича с цепи.

Пусть новые музыки играет судьба Ивана Денисовича, пусть познает он другие мелкотравчатые университеты. Кончился его срок. И он пошел по Руси. Точнее, сначала он побежал вдоль забора, мимо трансформаторной будки и магазина, а когда устал – пошел.

Драматург О.К.

Сусанна Арменян

ЕЩЕ ОДНА КОРОТКАЯ ПЬЕСА
в двух действиях

Действующие лица:
К.С.Станиславский
Чайка
Рабочий сцены

Действие Первое

Входит рабочий сцены, вешает ружье на стену. Уходит.

Действие Второе

Входит К.С.Станиславский, берет ружье, целится и стреляет. На сцену падает Чайка.

К.С.СТАНИСЛАВСКИЙ:
Не верю!

Уходит, унося с собой ружье.
Входит рабочий сцены, уносит Чайку.

Занавес

Выпуск подготовлен при поддержке Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб".

(995-32) 93-43-36
www.rcmagazine.ge

© Периодическое издание "Ассоциации литераторов - АБГ" и лито "МОЛОТ О.К." (Тбилиси, Грузия) http://abg-molotok.ge

Издается на средства редколлегии
Тифлисцы всѣхъ странъ, объединяйтесь!

Редакционная коллегия:
Сусанна Арменян,
Ада Джилавдарова,
Анна Шахназарова,
Дмитрий Лоскутов,
Михаил Ляшенко.

Рукописи не горят, не возвращаются и не комментируются. При перепечатке материала ссылка на данное издание обязательна.

Шкала ценностей членов редколлегии может не совпадать с градусом публикуемых авторов.